

Энтони Берджесс

ВОСТОЧНЫЕ
ПОСТЕПИ



Annotation

В романе-ностальгии «Восточные постели» повествуется о драматическом взаимопроникновении культур Востока и Запада. Эпоха британской колонизации сменяется тотальным влиянием Америки. Деловые люди загоняют на индустриальные рельсы многоцветный фольклорный мир Малайи. Оказавшись в разломе этого переходного времени, одиночки-идеалисты или гибнут, так и не осуществив своей мечты, как Виктор Краббе, или, как талантливый композитор Роберт Лоо, теряют дар Божий, разменяв его на фальшь одноразовых побрякушек.

- [Энтони Берджесс](#)

- [Посвящается](#)

- [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)

- [Глава 4](#)

- [Глава 5](#)

- [Глава 6](#)

- [Глава 7](#)

- [Глава 8](#)

- [Глава 10](#)

- [Словарик](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

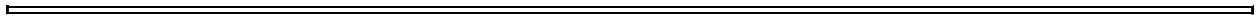
- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)



Энтони Берджесс
Восточные постели

Посвящается

کشد صحابت ۲ ساي
دټانه ملايو

Ни одного описанного здесь малайского штата в действительности не существует.

Приходят они и проходят в ночи уверенно: на азиатские равнины (говорит он) слетаются аисты в такой назначенный день, разрывают последним идущего в клочья, заставляя их уйти.

Роберт Бертон ^[1]

Отступление в воздухе

Аллах, несомненно, велик, и Соприкосновение — пророк его («Amours de Voyage») ^[2].

Господь тоже, конечно, логичен; сам по себе, но только не при хорошей погоде («Хибарка в Тобере-на-Вуличе»).

Артур Хью Клаф ^[3]

Глава 1

Заря свободы для очередного народа; свободы и прочих абстракций. Заря, заря, заря; люди пробуждаются с разнообразными ртами, с перенесенными с ночи или со вчерашнего дня счетами. Так или иначе, заря.

С обоих краев постели нехорошо. Правда, можно вылезти, медленно продвигаясь по дюйму вперед коричневым толстым огузком, только почему-то при этом часто просыпаются обе. Риск разбудить лишь одну лучше, гораздо лучше. Но какую на этой лежебокой субботней заре?

Сеид Омар минуту лежал, рассуждая в смертельно мучительной нерешительности, которая вовсе не доставляла мрачного удовольствия. Он, вместе со всей страной, не настолько проникся Западом. Умел говорить по-английски, водить машину, разбираться с завязанными глазами в марках бренди, работать в офисе, чують несправедливость за милую, но ни один белый начальник никогда не говорил с ним о философиях, модных в послевоенной Европе. Было уже вообще слишком поздно заканчивать курс обучения; его выборные правители не слышали предупреждения Тойнби ^[4] об опасности хлебнуть Запада, не осушая до дна. А теперь после краткой дремоты джунгли снова готовились к маршу на побережье.

С одной стороны лежала жена Маймуна, с другой лежала жена Зейнаб. Сеид Омар лежал, огороженный женской коричневой плотью. Плохо, совсем неправильно, нечисто, противоречит строгим исламским обычаям. Да в доме лишь одна спальня, а в спальне ни дюйма пространства, которое не было бы чисто функциональным. Малайский язык точнее английского называет спальню комнатой, где спят. А Сеид Омар в своем доме почти только и делал, что спал.

На других постелях спали дети, осязаемая память о прошлой мужской силе, дышащее напоминание о нынешней ответственности. Разгоравшийся свет вырисовывал коротенькие коричневые руки-ноги, забытые во сне; невинные приоткрытые рты, как бы слушающие в экстазе музыку. Вся комната расцветала коричневым многих оттенков — кофе разнообразной крепости, по-разному разбавленное консервированным молоком, от водянистой бурды из лавки Син Чая до крепко заваренного в заведении Уй Буиня, — много вариантов коричневого, в резком свете ровного, теряющего великолепие, почерпнутых в незапротоколированном прошлом семейств самого Сеида Омара и жен; около восемнадцати тел разных размеров, свидетельства об урожае за четырнадцать с лишним лет. Самый старший

Сеид Хасан с сонными, выпяченными как бы перед микрофоном губами, с всклокоченными, непослушными волосами; Шарифе Хайрун всего четыре, саронг сброшен брыкнувшей ножкой, кудряшки блестят на подушке. Все мальчики носят имя Сеид, все девочки, как одна, Шарифа; эти гордые фанфары перед личными именами объявляют об их происхождении от Пророка.

Их отец, Сеид Омар, снова чувствовал приступы острой боли в простате, вынужденный сейчас, на заре, а возможно, на обманчивой заре, признать их соответствующими своим сорока семи годам. Правда, пил вчера вечером (вчерашний вечер начинал теперь формироваться в памяти, и он затрепетал), да никакой разницы нету. Каждое утро одно и то же. Перебросил ноги через очертания спящей Маймуны, тихо дышавшей в потолок. Ну, как всегда, с одной или с другой стороны; опорная рука ткнулась ей в бедро, и она проснулась.

Случайно потревоженная, она обычно просыпалась в шоке, точно наконец прибыли воры, убийцы, насильники. Зейнаб, как правило, почти на полуслове продолжала монолог предыдущего вечера. Того он не сделал, сего не сделал, что будет с ее детьми (с ее детьми)? По небольшом размышлении Сеид Омар предпочел более драматический вариант.

— Давай, спи дальше.

— А? А? Что?

— Спи. — Укоризненно, твердо, так, что зыбь пробежала над спящими. Натягивая до пояса свой саронг, Сеид Омар всех оглядел, коренастых, разбросавших ноги, оглядел на манер генерала, наблюдающего за кровавой битвой. — Спите, — повторил он мягче, на манер Титании [\[5\]](#) или массового гипнотизера, но было слишком поздно.

Ребенок (имя автоматически не припомнилось) взглянул на него ясными утренними глазами, а Хасан громким подростковым голосом потребовал из подсознания:

— Ищи кошку.

Сеид Омар вытаращил глаза, удивленно — что бы это значило, — испуганно, словно слыша голос пророчества. Но протопал между разоренными шевелившимися телами, добрался до туалетной, ушедшей под воду. Только домашние женщины, рассуждал он, испытывали максимум неудобств от ее расположения на старом затопляемом рисовом поле. Он же мог, как теперь, стоять на верхней ступеньке, на берегу потока, без труда делая первое поутру дело. Пока длится дождливый сезон, его жены страдают от лишней воды в неположенном месте, а в сухой страдают от отсутствия воды вообще. Все равно, чем проще их страдания, тем

лучше: так они отвлекаются от более изощренных горестей, неподвластных временам года. Впрочем, их горести просто ничто рядом с его бедами.

Долго стоя на ступеньке, Сеид Омар вспоминал вчерашний вечер. Давали прощальный обед для Маньяма. Холодное кэрри и теплый рис, тосты и речи. Много речей. Начальник полиции и суперинтендант полицейского округа, и начальник окружной полиции, и старший офицер спецслужбы, и разные прочие официальные лица вставали и говорили, одни по-малайски, одни по-английски, одни и так и сяк, о хорошей работе Маньяма. Прибыл он на короткое время в качестве старшего секретаря, говорили они, но все сожалеют о его возвращении в Паханг, высоко ценят сделанную им огромную работу по реорганизации, уважают как человека и любят как друга. С такими людьми, как он, занятыми в кабинетах организационной работой, свободной Малайе нечего бояться. Мистер Годсэйв, последний белый мужчина в полицейском департаменте, сказал, что сам скоро, вместе со многими соотечественниками, покинет страну, которую так крепко полюбил (слушайте, слушайте), и суровой английской зимой часто будет ностальгически вспоминать счастливые дни, проведенные на Востоке. Он, можно сказать, не только в Малайе, но также и в Индии научился ценить способности тамилы Джафны ^[6], расы, неоспоримым украшением которой является мистер Маньям. (Тут мистер Маньям красиво зарделся, довольный собой.) Тамилы Джафны, сказал мистер Годсэйв, воспитаны в традициях государственной службы, что вполне может служить примером другим расам. И заключил словами о колоссальной потере для полицейского департамента штата с отъездом мистера Маньяма, труды которого будут долго помниться и вдохновлять тех, кому посчастливилось с ним работать.

Тут Сеид Омар незванно-негаданно встал и сказал по-английски:

— Долго сегодня хвалили Маньяма. Я встал не для того, чтобы хвалить Маньяма. Я встал сказать про Маньяма правду. Знаю я его и его расу. Знаю я его методы и методы его расы. И вот что скажу. Если Маньям хочет продвинуться, пусть продвигается. Только пусть продвигается, не швыряя других лицом в грязь. Если хочет взобраться наверх, пусть взбирается, но не через мою голову. Знаю, он всем рассказывает, будто я плохо работаю. Знаю, он записывал дни, когда я отсутствовал. А я знаю, что его невестку привезли специально из Куала-Лумпура, чтоб она встретилась с начальником полиции, покрутила перед ним задом, поскакала зубы, показала бы, как она быстро стенографирует, как хорошо на машинке печатает. Знаю, я быстро стенографировать не умею, только я никогда не прикидывался, будто умею быстро стенографировать. Но моя

совесть чиста, я честный. Всегда старался хорошо делать свое дело. И вот является мужчина, все врет про меня и старается вышибить. Тот самый мужчина, кого вы расхваливали. Я вас предупреждаю, особенно малайцев, среди вас враги, и один из них — этот самый Маньям. Тамилы Джафны постараются в пыль вас стереть, вырвать рис изо рта ваших жен и детей. Они не любят Малайю, одних себя любят. Куча ублюдков. Спасибо за внимание.

Сеид Омар завершал свое утреннее возлияние задумчиво, припоминая дальнейший ход оживленного вечера. Драки не было. Потянулось множество предупредительных рук, в которых Маньям, со своей стороны, не нуждался, вновь и вновь повторяя:

— Я прощаю его. Все равно он мне брат. Надо прощать оскорбляющих нас, — прямо как слабосильный христианин.

Но Сеид Омар сказал:

— Именем Бога клянусь, есть писари и постовые, которые засвидетельствуют, что я сам их удерживал от причиненья Маньяму физического вреда. Только Маньям еще не уехал. Есть еще время. Самолет улетит только завтра в двенадцать.

Друзья увели Сеида Омара в кофейню, где до полуночи кипело пиво и адреналин.

Война, думал Сеид Омар, оправляя саронг. Война, думал он с нечестивым волнением. Малайцы против всего света. Но на входе в пустую гостиную его упрекнул плакат на стене — портрет премьер-министра с милостивой улыбкой, с любовно протянутыми руками в шелку. Под ним орнаментальной арабской вязью вился один лозунг: Киманан — Мир.

Дети вставали, настраивались на день. Жены заводили плаксивую песню насчет цен на сушеную рыбу, укладывая друг другу волосы. Хасан уже прилип к радиоприемнику, отыскивая раннюю далекую станцию. За единственным столом, над которым председательствовал серьезный портрет султана, маленький Хасим делал уроки. По географии; ребенок в трудолюбивом усердии выводил слова сочинения.

— Про что это? — не без теплоты спросил отец. Хасим был его любимцем, надеждой семьи, единственным ребенком в очках.

— Про Цейлон, отец.

— Про Цейлон? Про Цейлон? Кто тебе задал Цейлон?

— Господин Парамешваран, отец.

Сеид Омар дышал над худыми плечами ребенка, читая: «Джафна — важнейший район Цейлона. Оттуда происходят тамилы. Это трудолюбивый и очень умный народ. В Малайе много тамилков. Они работают во многих

правительственных учреждениях. Они помогают управлять Малайей».

Сеид Омар в ярости схватил и скомкал сочинение, испустив потрясенный крик. Изумленный Хасим посмотрел и захныкал. Сеид Омар слепо схватил атлас, выдрал из него Цейлон с Джафной и всем окружающим океаном. Быстро явились жены, Хасан разразился грубым подростковым гоготом.

Сеид Омар кричал:

— Я для вас, для вас все делаю! Ни благодарности, ни внимания! Я никто в этом доме, никто! Ухожу!

Стал спускаться по наружной лестнице к затопленной дорожке, но обнаружил, что бос и полугол. Стыдливо вернулся, надулся в углу. Хасан, забыв убрать ухмылку, ухмылялся шкале приемника, а потом вдруг извлек из него медный лязг, отчего Сеида Омара бросило в пот. Он сопел в углу с затуманенными глазами.

— Нельзя позволять себе книжки рвать при той зарплате, какую ты в дом приносишь, — сказала Маймуна. — Позор.

— Ладно, ладно, — успокаивала Зейнаб хныкавшего Хасима. — Нехороший отец, нехороший.

— Ну, хватит ерунды, — саркастически сказал Сеид Омар. — Будьте любезны подать завтрак. Мне через четыре часа надо быть в аэропорту.

В тот момент элита городских тамиллов Джафны в тяжком похмелье пила уже кофе, черный, горький. После приема в полиции последовала вечеринка дома у Вайтилингама. Вайтилингам был главным ветеринаром штата, у него жил Маньям. Маньям был племянником Вайтилингама, а может быть, дядей, двоюродным братом: степень родства точно не установлена, однако родство имелось. Фактически родством были связаны все тамиллы Джафны, сидевшие в полосатых саронгах в то пятничное утро, в день отъезда Маньяма, молча страдая. Джафна маленькая. Недавно закончившаяся вечеринка в какой-то мере представляла собой лоснящуюся черную эллинистическую пародию на симпозиум ^[7], где Сократ рассуждал о достоинствах интеллектуальной любви, а в доску упившийся Алкивиад слюняво восхищался курносый учителем. Алкивиадом был Арумугам, старший диспетчер аэропорта, мужскую красу которого портил высокий визгливый голос с забавными полутонами, как бы при полоскании горла. Сократом — Сундралингам, доктор. Сверкая очками, он пространно рассказывал о ничтожном значении гетеросексуальных связей: единственное предназначение женщин — производить на свет больше тамиллов Джафны; романтические поэты писали чепуху; возводить женщину на пьедестал — западное извращение. Арумугам без конца

повторял:

— Как ты прав. — Голос евнуха придавал этой фразе какую-то виноградную кислоту. Впрочем, кругом фактически зелен был виноград. Всем под или за тридцать, жен никто еще не нашел. Имелись в городе женщины, да не того сорта. Им нужны женщины хорошей касты, хорошего цвета, достойные мужчин-профессионалов. Куларатнам, инспектор транспортных средств штата, не пришел на вечеринку. Опозорился, ибо стало известно, что он связался с пухлой красивой малайской принцессой, державшей книжную лавку.

Вайтилингам знал, что тоже скоро опозорится. И пока гости попивали кофе, проговорил:

— Может, кто-нибудь... — Слово не выговаривалось. Не столько из-за легкого заикания, сколько из-за легкой нерешительности. Он поднял кроткое лицо к потолку, как бы нагляднее демонстрируя спазм в горле. — Кто-нибудь... — Если собирается предложить поесть, все думали отказаться.

— Пока нет, — сказал Сокалингам, дантист.

— Кто-нибудь... — Говорили по-английски, на языке профессионалов. — ...съест яичницу с луком?

После стольких усилий казалось неблагодарностью отвечать «нет». Все забурчали, и Вайтилингам кликнул слугу-сиамца. Потом кротко оглядел компанию со страдальчески сморщенными физиономиями в резком свете из окна, высветившем похмелье.

— Нам всем станет... — Маньям затряс головой с мрачной улыбкой. — ...лучше... — Но что за тигры, что за джунгли под кротостью Вайтилингама. Неуверенность речи служила симптомом тяжелейшего напряжения. Руки, столь заботливо и умело исполнявшие ветеринарные обязанности, с радостью сворачивали бы шеи. Вайтилингам умел ненавидеть. Во-первых, он ненавидел британцев. Сколько себя помнил, страдал от британской несправедливости, по его выражению. Видел, как через его голову продвигались неквалифицированные светловолосые чиновники. В Куала-Лумпуре однажды британский солдат обозвал его негром. Прежний белый главный ветеринар штата сказал ему как-то: «Конечно, у вас только колониальная степень...» Другой белый один раз пытался его провести в клуб для белых мужчин, а китаец-распорядитель, британский лакей, не пустил. Белый пожал плечами, сказал: «Извини, старина», — а потом сам вошел. Но и раньше, еще до рождения Вайтилингама, его отца, цейлонского чиновника, фактически ударил в лицо англичанин. Так, по крайней мере, гласило семейное предание. Из

ненависти к британцам родилась ненависть к матери, которая после смерти отца вышла замуж за англичанина, хозяина чайной плантации, обосновавшегося на Цейлоне. Поэтому Вайтилингам собирался досадить матери, женившись на женщине, которой она даже не знала, не только не выбирала. И все-таки его собственный выбор пахивал мазохизмом. У Розмари известная репутация; по некоей неясной логике он ретроспективно станет рогоносцем. Имя, христианское имя, свидетельствовало о ее принадлежности к низшей касте, что уязвляло, но мать уязвит еще больше, а может, и нет, она ведь сама вышла за христианина. Впрочем, на самом деле это не должно его уязвлять, равно как и сознание распущенности Розмари, ибо он коммунист: раса, религия, каста, мораль — буржуазный инструмент угнетения — для него не имеют значения. Хотя он помалкивал о своем коммунизме, будучи государственным служащим. Но если он коммунист, должен быть сейчас в джунглях, время от времени жалея пулями гнивающий капиталистический режим. Только на самом деле китайцы ему не нравились. И что бы он ни делал, по-настоящему не боролся с британскими порабощателями, которые в любом случае покидают Малайю. Опять же, он счастлив по-настоящему только тогда, когда делает заболевшим коровам инъекции пенициллина, вставляет термометры кошкам в задний проход; буквально мухи не обидит, что сильно отдает индуизмом, а мать его хоть и вышла за христианина, глубоко верна индуизму.

Слуга-сиамец принес тарелки с тепловатыми хлопьями пережаренной яичницы, приправленными почерневшими кусочками лука. Все вяло принялись ковырять завтрак. Солнце поднималось, день разгорался. Доктор Сундралингам впервые в тот день заговорил, поспешно, настойчиво, будто время против его воли утекало впустую, обратившись к Маньяму:

— Думаешь, сможешь устроить Сами на то самое место? — Речь шла о Каиикасами, двоюродном брате Сундралингама. — Ты тамошний народ знаешь; я — нет.

— Думаю, да, — сказал Маньям. — Малайцы такую работу просто не сделают. Дураки, этого не понимают и не соглашаются. Но по-моему, я сумею добиться вакансии. Платить сперва будут немного, да наверняка откроются другие вакансии выше по лестнице. Не волнуйся.

— А у Нилам, по-твоему, все будет хорошо? — спросил Арумугам. Тонкий голос терзал больные нервы подобно фортиссимо флейты. Нилам была невесткой Маньяма, а также двоюродной сестрой, племянницей или теткой всех прочих присутствующих.

— Да. Сеида Омара выгонят. Это решено. Если бы вы его только

послушали вчера вечером...

— Ты бы поосторожней. У него кровь горячая.

— Разговоры одни, — улыбнулся Маньям. — Все они говорят, говорят да орут, и никогда ничего не делают. Кроме того, слишком поздно ему что-то делать.

— Все равно, осторожно, — предупредил Арумугам.

Вайтилингам украдкой взглянул на часы. Скоро придет пора бриться, одеваться, ехать с черным профессиональным чемоданчиком рядом на сиденье к дому Розмари. В доме том жили кошки, восемь-девять, все подаренные Вайтилингамом. Розмари как-то пожаловалась на мышей. Это был единственный способ наносить ей визиты, профессиональные, исключительно ради заботы о кошках, инъекций витамина В, пенициллина, вливания тонизирующих капель, так как она панически опасалась, что скажут соседи, увидев мужчину, заходящего к ней просто так. А вдруг злые люди напишут ее дружку в Англию, расскажут, что она флиртует? Тогда дружок на ней не женится. Но Вайтилингам знал, что дружок в любом случае на ней не женится. Он как-то видел на танцах этого дружка, гордого, белого, в смокинге, кружившего Розмари в вальсе в своих объятиях. Танцуя, этот дружок встретился взглядом со своим дружком, неотесанным рыжим табачным торговцем. Оторвал от спины Розмари правую руку, сделал недвусмысленный итифаллический жест, а потом подмигнул. Британцы никогда не держат обещаний. И осквернение Розмари тем самым англичанином на миг вызвало у Вайтилинга странное мрачное ликование. Его женитьба на ней станет многозначительным мстительным жестом.

— Теперь, думаю, — сказал Вайтилингам, — надо...

— Полно времени, — сказал Маньям. — Самолет у меня только в середине дня.

— Надо...

Черная, но миловидно, Розмари Майкл сидела при полном солнечном свете в собственной гостиной, перечитывая последнее письмо от Джо. Кошки кругом валялись, боролись, играли, подкарауливали, умывались: множество кошек, как у старой девы, однако Розмари была старой девой лишь в строгом предметно отнесенном смысле. Она в высшей степени, в высшей, созрела для брака.

Идеальность ее красоты была абсурдной. Безупречность оборачивалась каким-то дефектом.

Невозможно сказать, какой расовый тип или тип красоты она олицетворяла: в черных глазах весь Восток — гурии, гаремы, постели,

благоухающие библейскими ароматами; нос и губы — общесредиземноморские. Тело Суламифи и итальянской кинозвезды, в данный момент наряженное в шуршащую импортную модель с широкой юбкой. Декольте сулило бесконечную круглую смуглую гладкость, головокруглительно чувственное сокровище, мучительно распаляло кровь. Но сокровища открывались лишь белым мужчинам, ибо Розмари терпеть не могла прикосновенья коричневых пальцев. Блистательный список возлюбленных, начиная с районного воинского начальника, до заведующего местным холодильником. Многие обещали жениться, но все уехали домой, не выполнив обещаний. Ведь Розмари мало что могла предложить, кроме тела, отрывочных знаний, полученных в колледже, умения расставлять цветы и довольно существенной компетенции во всяческих чувственных наслаждениях. Она отчаянно хотела выйти за европейца, но без любви выходить не желала. Разумеется, после вечерней выпивки знакомо и хрипло звучала мольба о любви, и Розмари вполне быстро мольбе уступала, слыша, как хрипнет любовь, становится настойчивей, а еще думая: «Ведь он меня будет все время желать, как только узнает, на что я способна». И правда, мужчины долго ее желали, до конца срока временной службы, или до перевода в другой город, или пока голос Розмари — неумелый выговор Слоун-сквер после сильной выпивки — не заставлял их стыдливо ежиться. И другие вещи отпугивали — чрезмерное пристрастие к вустерскому соусу, желание быть все время желанной; слезы, слезы, которые не очеловечивали ее лицо, делая умилительно безобразным, лицо ее от слез вообще уже никаким лицом не было; отсутствие «ощущенья реальности» (она просто буквально не знала, где лжет, а где говорит правду). А теперь белые покидали Малайю, — пятно коричневого соуса расползлось по скатерти, — время было на исходе.

Но Джо еще писал, обещал прислать обручальное кольцо, Джо говорил, что все ищет работу, хорошую, чтоб ей после замужества работать не приходилось. Розмари ему верила и в доказательство веры три месяца хранила верность, невзирая на смертные вопли время от времени горячей женской крови. И опять прочитала:

«...Я о тебе без конца думаю, все время вместе с тобой в постели. Честно, милая, лежу один в эти длинные зимние ночи и хочу тебя, как никогда. Встретил вчера старину Мака, выпили по паре рюмок, как в старые времена, он меня со своей сестрой познакомил, правда, сногсшибательная, только мне с ней делать нечего, потому что я думаю о тебе. Надеюсь, ты меня ждешь, не ищешь другого мужчину. Конечно,

наверняка видишься с Краббе, Краббе ведь тебе босс, между прочим, только с Краббе в любом случае не позабавишься, для него это в прошлом. Ну, милая, я все ищу хорошее место, да нынче мало хороших машин продается, кто знает, может, скоро вернусь в славную старушку Малайю, если Мак сможет устроить меня в новую фирму по экспорту. Только знаю, ты хочешь, чтоб я всеми силами постарался устроиться как-нибудь тут, ты ведь Англию знаешь и так ее любишь. Ну, кончаю теперь, бумажка для авиапочты маленькая, поэтому теперь кончаю с горячей любовью — твой Джо».

Письмо по-настоящему милое, гораздо приятней того, где он ей запретил посылать его отцу и матери рождественские подарки, потому что в семье не особенно любят подарки. Высказался по-настоящему грубо, хотя в конце добавил: «Экономь деньги, милая, пригодятся для обстановки нашего домика». Розмари осенила прозорливая мысль, что Джо о пей родителям ничего не рассказывал; может быть, это дурной знак. Может, у них нелепые предрассудки насчет колоний.

Впрочем, рассуждала Розмари, она почти не встречалась с колониальными предрассудками в Ливерпуле, проходя курс преподавательской подготовки. А мужчины как за ней бегали! Обходились как с королевой. Тогда она представлялась наполовину гавайкой, наполовину яванкой — романтическое сочетание, — не опровергая трепетного предположения о возможной своей принадлежности к княжескому роду. В Куала-Ханту то время прекратили существование семейства христиан тамиллов среднего класса низкой касты. И почтенный седовласый управляющий просил ее руки (если она захочет, возможны отдельные спальни), и высокий молодой человек в «Кларидже», и участие в телепрограмме «Вечерний город», и упоминание в «Дейли миррор», и позирование Норману Хартнелу. А как благосклонно кивнула ей королева! Хотя нет, может, этого на самом деле не было. Но министр по делам колоний определенно в тот вечер ее уговаривал не возвращаться в Малайю. Когда они танцевали среди канделябров и одноразовых украшений, массы цветов и шампанского. Все это было, безусловно было.

А теперь было вот что: парадная дверь домика Министерства образования распахнулась и возникла масса цветов. За массой цветов был Джалиль, турок, служащий городского совета, владелец акций пары каучуковых плантаций. Эмир Джалиль — ему нравилось, чтоб его так называли, — неуклюже свалил цветы на стол, потом без приглашения сел в единственное другое кресло. Коренастый, с короткой шеей, глазами-бусинками, крепким носом, пятидесятилетний, в открытой рубашке, но с

галстуком, с тяжелым дыханием астматика. Кошки, зная про его ненависть к кошкам, потянулись к нему, зачарованные, а один настырный кот с физиономией Дизраэли попытался залезть на колени. Эмир Джалиль грубо его стряхнул.

— Вы не должны сюда приходить, — возбужденно проговорила Розмари по-английски. — Вы же знаете. Я велела, чтоб она вас не пускала. Вдруг кто-нибудь увидит, да еще со всеми цветами? Вдруг кто-нибудь ему напишет? Ооооох! (Чистое, круглое, открытое тамильское «о».) Сейчас же уходите, пожалуйста, уходите сейчас же, прошу вас!

— Пойдем поедим, — сказал Джалиль. — Пойдем выпьем. Пойдем повеселимся. — После чего долго дышал и кашлял.

— Не могу, — отказалась возбужденная Розмари. — Вы же знаете, я не могу. Ох, уйдите, пожалуйста.

— Он не женится, — сказал Джалиль. — Никогда не женится. Сам мне говорил, что он на вас не женится.

— Нет, не говорил, — возразила Розмари. — Это вранье, вы врун. Он кольцо мне прислать собирается.

Джалиль залился довольным тихим астматическим смехом. Розмари обратила внимание на цветы, быстро двинулась к ним на высоких каблуках. Может быть, просто в качестве предположения, без какой-либо определенности, лодыжки у нее были чуточку тонковаты. Ставя в воду цветы, она думала о том, как затруднительно прийти к решению, надо или не надо содрогаться при мысли о прикосновенье Джалиля. Она в книжке читала, что Турция на самом деле часть Европы, значит, Джалиль европеец. Как же так? Он мусульманин, у него три жены, а европейцы христиане, у них по одной жене. Хотя с виду Джалиль европеец. И у него есть деньги. И с другими женами он может развестись. Но о любви ей ни разу не говорил. Если вообще хрипит, то от астмы.

Она понесла цветы от кухонной раковины обратно в гостиную. Три кошки вскочили на стол их обследовать, одна, наполовину сиамка, попыталась лакнуть воду. Джалиль снова закашлялся, задышал, тяжело работая грудью, потом, как бы смирившись, вытащил портсигар из кармана рубашки. Толстые пальцы, схватив портсигар, заодно прихватили зеленый листок, который на миг подхватил ветерок, бросив на пол к ногам Розмари. Джалиль с некоторым проворством и хрипом встал с кресла за листком, на взгляд Розмари, виновато, встревоженно, определенно с оттенком смущения. И она сама быстро выхватила листок из-под задних лап кошки и со вкусом взглянула.

— Вчера забрал у почтмейстера, — сказал Джалиль. — Сюрприз хотел

сделать.

— Вы противный, противный, ужасный... — Розмари притопнула ножкой как бы взамен существительного, которого не могла подыскать. — Это мне. Тут сказано, что мне посылка. Ох, уйдите, убирайтесь. Никогда не хочу вас больше видеть...

— Сюрприз хотел сделать. Обрадовать. — Джалиль опять сидел, успокоившись.

— Не хотели показывать. Скрыть от меня хотели. Из ревности. Ооооох! — Она вдруг взволнованно оживилась. — Это кольцо, кольцо. Он в конце концов его прислал. Оно на таможне. — И перескочила к другой мысли. — Я вчера еще могла получить. А вы от меня скрыли. Ох, вы свинья, ужасный, ужасный. — И сильно пнула его в правую голень. Джалиль глубоко в груди издал смешливое чириканье. — А почта сегодня закрыта. И я не смогу получить. Но он его прислал, прислал, оно пришло! — С полностью просиявшим лицом она была, пожалуй, не так красива, как в вакцинированном покое; черты ее лица не выдерживали искажения от человеческих переживаний, вполне допустимого для более цивилизованной миловидности. Но все зубы были на месте, до смешного белые, ровные.

— Пойдем выпьем, — сказал Джалиль. — Пойдем повеселимся.

— Только не с вами, будь вы даже последним на свете мужчиной, — буркнула она, сплошь надутые губы, грозные глаза. А потом полностью передумала: — Ох, я должна отпраздновать, должна, должна.

— Лучше сначала взглянуть на посылку.

— Кольцо, должно быть кольцо!

— Пойдем посмотрим. Пойдем выпьем, повеселимся, а по дороге зайдем.

— Там ведь закрыто. Пятница. Нет никого.

— Пойдем. Там сторож. Мне откроет. Отдаст посылку. Он мне деньги должен.

— О, Джалиль, Джалиль, правда? О, прямо расцеловала бы вас.

Джалиль вроде бы не хотел быть расцелованным. Сидел неподвижно, астматически тихо посмеивался, почти беззвучно.

— Собирайтесь, — сказал он.

— Теперь на все плевать, — сказала Розмари. — Пускай говорят что хотят. Пускай сплетничают сколько угодно. Я обручена, обручена! — Бросилась в спальню, устрашающе высоко распевая, оттуда снова кинулась к снимку в серебряной рамке на секретере, принадлежавшем Министерству общественных работ. — О, мой Джо, мой Джо, — ворковала она, крепко

прижав к грудям фотографию, потом отстранила, полюбовалась, потом осыпала поцелуями злобный рот, волнистые светлые волосы, понимающие глаза. — Мой Джо, Джо, Джо, Джо. — Потом опять метнулась к туалетному столику. Джалиль кашлял, вздыхал, довольно посмеивался.

Когда Розмари собралась, в открытых дверях робко встал Вайтилинг. Джалиль еще сидел в кресле, глубоко дышал, как бы мрачно призадумавшись над картиной с неловко возвышавшимся Вайтилингом, словно тот действительно был изображен на картине.

— Ох, Вай, — вскричала Розмари, — пришло, кольцо пришло, я обручилась! — Она уже начала праздновать: слишком много помады — все равно что слишком много выпивки, волосы туго зачесаны, назад, — такой стиль она предпочитала для танцев, — схвачены высоко на затылке серебряной круглой заколкой.

Вайтилинг продемонстрировал работу гортани, подняв глаза к потолку, как бы осматривая протечки. И зажевал губами.

— Знаю, знаю, — тараторила Розмари. — Замечательно, правда? Я тоже почти потеряла дар речи. Сейчас иду получать его, Вай. Ооооох, просто не могу дождаться.

— Я... — начал Вайтилинг.

— Тигр, — сказала Розмари, — немножечко от еды отказывается. — Кивнула на огромную полосатую тварь, сидевшую, точно наседка, лелея злобную выходку. — Дайте ему что-нибудь, чтобы ел, он такой милый. Ох, как я счастлива. — И выскочила на дорожку к машине Джалиля.

Джалиль встал, как бы с усилием, прочирикал что-то Вайтилингу, гортанно пробежав вниз половину хроматической гаммы, кивнул не без приятности и вышел из дома. Кошки выжидающе смотрели на Вайтилинга, без всякой тревоги, словно он и они представляли собой две выстроившиеся команды соперников.

В аэропорту стоял Краббе, склонясь над стойкой бара, единственный белый в коричневом море. Кругом малайцы — на высоких табуретах у бара, пьют воду со льдом или ничего не пьют, за столиками из ротанга, прохаживаются туда-сюда, как в оперном антракте, сидят на корточках по-шахтерски, сидят по-портновски, стоят, облокачиваются, окружают Краббе легким запахом теплоты с намеком на мускус. Они явились из города и из кампонгов ^[8] посмотреть на возвращенье паломников. Прибыли рано, время — не проблема. Краббе подмечал суровые рыбацкие лица, покорно повисшие головы бедных фермеров; изумленные дети глазели снизу вверх с открытыми ртами, должно быть, впервые видя белую кожу, но были слишком воспитаны, чтобы лепетать про чудо. Женщины плыли мимо или

сидели в долготерпении. Резкий свет вырисовывал их четкие мелкие черты и экстравагантный рисунок саронгов, лился с голой взлетной полосы, подчеркивал бледность, глядевшую на Краббе из зеркала за стойкой. Краббе смотрел на себя: волосы отступают со лба, начинают обвисать брыла. Опустил взгляд на брюшко, втянул его, содрогнулся от усилия и опять распустил. Может быть, думал он, средний возраст и лучше, меньше хлопот. Он только недавно открыл, что старение — добровольное дело, и обрадовался. Инфантильность, конечно; нечто вроде радости от способности контролировать выделения организма, но его всегда больше манили переходные фазы истории — серебряные века, гамлетовские этапы, когда прошлое и будущее одинаково ощутимы и, сталкиваясь, способны породить вихрь. Не то чтобы он жаждал действий. Разумеется, так и должно быть на этой фазе, и именно поэтому фаза долго длиться не может. Только представить Серебряный век «Энеид»! Так пусть приходит средний возраст, отрастает брюшко, он уже не будет показывать свой профиль женщинам, стоя в клубном баре вместо танцев. Он чувствовал, что в любом случае ничего больше не хочет от женщин; первая его жена умерла, а вторая ушла. Ему нравилось свое положение — высокопоставленный служащий Службы образования, ожидающий передачи дел коричневому мужчине, обученному им на закате британского владычества. Тыча спичкой в окурки, разбухшие в воде пепельницы, он увидел во всем этом романтику, — последний легионер, одинокий, проигранное дело поистине проиграно, — инстинктивно втянул брюшко, провел рукой по волосам, прикрыв оголившийся участок скальпа, вытер потные щеки. Поймал в зеркале взгляд малайской девушки и вяло улыбнулся, пряча зубы. Она исчезла из зеркала, впрочем, с улыбкой, и он с чем-то вроде хорошего настроения заказал еще пива.

В пробиравшемся к нему в толпе мужчине Краббе узнал Сеида Омара, пухлого, озабоченного, в рубахе, испещренной газетными строчками. Сеид Омар чуть не споткнулся о ребенка на полу, извинился перед матерью, приветствовал малайца фермера фальшивой улыбкой, потом встал рядом с Краббе и сказал:

— Где этот гад? Уже прибыл гад?

— Какой именно?

— Тамильский ублюдок, Маньям, что хотел меня вышвырнуть.

— Выпей, Омар.

— Большой стакан бренди. Я до него доберусь, обещаю вам, доберусь.

Вчера вечером не было шанса. Знаю, вам и всем прочим рассказывали, будто я трус, но вчера вечером мне не позволили, понимаете, не позволили

отомстить. — Он стиснул свою левую грудь с печатной фотографией голливудской звезды и провозгласил: — Именем Бога клянусь вам, я его достану. — Краббе читал на правом рукаве рубашки Сеида Омара: «Обед в День благодарения — неизменная американская традиция. К нему обязательно подают жареную индейку, клюквенный соус, лук в сметане, картошку, пироги с тыквой и мясным фаршем. Со времен пилигримов фаршировка птицы остается для хозяйки единственной возможностью проявить свою индивидуальность, готовя эти освященные временем блюда». Дальше шла голая рука Сеида Омара.

— Лук в сметане — неплохо звучит, — признал Краббе, заглядывая под рукав Сеида Омара, не продолжается ли статья под мышкой.

— Да, есть тут мускул, — объявил Сеид Омар, — хватит для безволосого гада.

— Какие-то тамилы поднялись в диспетчерскую башню, — сказал Краббе. — Я этого Маньяма не знаю, но вполне точно слышал голос Арумугама. Он там, наверно, дежурит сегодня. — Сеиду Омару принесли бренди, и он нетерпеливо к нему присосался. Потом покачал головой, надул губы. Потом поставил стакан.

— Пойду туда.

— Ох, послушай, Омар, — сказал Краббе. — Не затевай ничего, только не сегодня. Ты же знаешь, паломники возвращаются. Не мое дело тебе рассказывать про мир на земле и так далее, но, по-моему, лучше оставь их в покое. Ничего хорошего ты не сделаешь.

— Я и не собираюсь ничего хорошего делать.

— Забудь. Выпей еще.

— Нет. Пойду, пока не остыл, надо идти, пока я еще злой. — Он отверг дружескую предупредительную руку Краббе, ухватившуюся за статью о фаршировке в День благодарения, и ушел. Краббе смотрел, как кинозвезда в купальнике у него на спине исчезает в толпе. Послышался голос Сеида Омара, спорившего у таможенного барьера с китайцем, служащим аэропорта. Слышно было, как голос его поднимается по лестнице к диспетчерской башне. Потом Краббе услышал подлетающий самолет. Малайцы тоже услышали, и некоторые пошли к ограждению летного поля, к стоянке машин, присматриваясь к западу, где лежит Мекка, откуда по логике должен был прилететь самолет. Но шум вскоре стал заполнять юг.

Самолет сел на дальнюю полосу, неуклюже приближаясь на толстых гладких шасси. И тут малайцы начали выплескивать свое волнение. Им хотелось броситься к паломникам, прикоснуться, получить благословение. Ограда слишком высокая, не перелезть, поэтому они продвигались —

возбужденно, но упорядоченно, — к открытым раздвижным дверям, ведущим к диспетчерской башне, к таможенным барьерам, к самому самолету. Они уже видели, как в те двери вошел малаец.

Китаец, худой, нервный, в белом, в фуражке с козырьком, преградил им дорогу, сказав:

— Тидар ди-бенар масок. Нельзя туда входить. — Малайцы поднажали. Китаец сказал: — Уйдите, пожалуйста. Запрещено, — и попробовал плотно задвинуть дверь. Тон его совсем не был властным, он нервничал из-за кампонгских малайцев: кое-кто уже прорвался, дверь закрывать нельзя. Теперь Краббе отошел от стойки, сам нервничая, ибо самолет должен был доставить из Сингапура драгоценный, по его мнению, груз. Попробовал срезать путь сквозь толпу, мягко и довольно вежливо сопротивлявшуюся. Будучи выше всех в толпе ростом, он вполне отчетливо видел, как служащий аэропорта, китаец, совершил глупый поступок: слабо толкнул первого мужчину; коснулся мусульманина оскверненными свининой лапами. Сияние Мекки уже отражалось на простых малайцах. Передовые ряды уже видели просторные арабские одежды, бедуинские головные уборы, тюрбаны выходивших из самолета паломников, готовые приветствовать и благословлять руки, пусть даже державшие кастрюли и свертки. Народ кампонга не потерпит ни одного неверного между собой и сиянием славы. Служащий отлетел к стене в позе распятого. Его коллега бросился на помощь из-за стойки для проверки документов с криком:

— Назад! Назад! — запутался среди малайцев, и какой-то рыбак откинул его в сторону, как занавеску. Бармен помчался за полицейским. Краббе теперь оказался в толпе и тоже кричал. Вреда ему не причинят — англичанин, хотя и неверный, все-таки принадлежит к расе бывших окружных начальников, судей, врачей, мужчин, которые в свое время были, возможно, полезнее прочих, могущественных, но кротких. Самые рьяные люди кампонгов уже приближались к паломникам с громкими религиозными приветствиями, остальная толпа следовала за ними, а перед пилигримами шел паренек-китаец с кейсом, которого пришел встречать Краббе. Они сметут его с пути, сшибут, затопчут, могут пинком отшвырнуть кейс, и он потеряется, будет украден. Краббе побежал, задыхаясь от среднего возраста, оттащил молодого китайца от паломников, от встречавших, приветствовавших, обнимавших, в безопасную нишу у подножья лестницы диспетчерской башни. Испуганный юноша спрашивал:

— Что это? Что происходит? — Но Краббе слишком запыхался.

Суматоха впереди, испуг, злоба, радость, а теперь суматоха сверху и позади. Сеид Омар был спущен с лестницы доктором Сундралингамом,

громко пищал Арумугам. Видишь столько насилия на экране, читаешь в газетах, признаешь неотъемлемым элементом общей картины, но всегда заново ошеломляют аспекты, которых сообщения не улавливают: запах пота, кровь, текущая по лицу, хриплое дыхание, надтреснутые голоса, выговаривающие непонятные слова. Сундралингам почти без рубахи, у Сеида Омара волосы дыбом, одна сандалия потерялась. Но голливудская кинозвезда все так же позировала с томной улыбкой, и статья про День благодарения не пострадала. Сеид Омар лежал, закрыв руками голову, как погонщик верблюдов в песчаную бурю. Паломники проходили мимо него, некоторые улыбались серьезно, считая эту позу экстравагантным знаком почтения. Сундралингам и Арумугам поднимались обратно по лестнице, возможно, лечить раны Маньяма; Арумугам пронзительно верещал, Сундралингам пыхтел и бурчал.

Толпа рассеивалась. Прибыла полиция, малайская полиция, робко стояла, ничего не делала. Служащие-китайцы пили бренди в конторе, возмущенно отрывочно квакая. Инцидент — если был инцидент — исчерпан.

— Ну, ведь так не годится, — сказал Краббе, — вообще никуда не годится.

Сеид Омар сел со стоном. Лоб в синяках, губа распухла. Он методично ощупывал зубы один за другим, пошевеливая их большим и указательным пальцем.

— Не годится, правда? — твердил Краббе. Сеид Омар издал гортанный животный звук. — Пойди еще бренди выпей.

Малайцы быстро исчезали из помещения: паломники прибыли, скоро пора в мечеть. В баре остались немногочисленные пассажиры, а также эмир Джалиль с астмой, но в благоприятном расположении духа, и Розмари Майкл, надутая и несчастная. Краббе поздоровался, держа юношу-китайца за локоть. Следом шел Сеид Омар, подкручивая глазной зуб, как скрипичный колок.

— Драка была, — сказал Джалиль. — Мы пропустили крупную драку. — Розмари надула губы. — Она не очень счастлива. Думала, он кольцо прислал, а он кольцо не прислал. Вообще ничего не прислал.

— Ох, заткнитесь, Джалиль. Заткнитесь, заткнитесь. — Розмари тихо заплакала в свой джин. Джалиль тихо фыркнул.

— Какие мы все несчастные, — сказал Краббе. Но юноша-китаец не казался ни несчастным, ни счастливым. Он ждал, вежливый, с кейсом под мышкой.

— Свинья, — сказала Розмари, безобразная в гневе, словно

гаргулья, — свинья чертова. Хотел сделать мне больно, и все. — И заплакала: — Смотрите, — крикнула она, — а я думала, это кольцо. — И горько заплакала. Сеид Омар со стоном пристраивал спину в ревматической позе. Краббе осмотрел предмет, самодовольно торчавший из скомканной упаковочной бумаги. Это была жуткая металлическая модель Блэкпулской башни с облезшей серебряной краской. Записка гласила: «Думаю здесь о тебе, Розмари. Отлично провожу время в колледже. Мужчины не оставляют меня в покое! Дженет».

— Дженет да Силва, — сказал Краббе. — Как мило с ее стороны.

— И таможенная пошлина два доллара, — завывала Розмари. И вдруг прекратила выть, с каким-то ужасом взглянув на Краббе. — Ох, — сказала она, — мне тут нельзя оставаться. Люди будут судачить. Отвезите меня домой, Виктор. Вам можно домой меня отвезти. Джо сам сказал. — И снова заплакала, вымолвив это имя. — А я думала, обручилась. Как было бы хорошо, если бы обручилась.

— Останься тут, — мягко посоветовал Краббе. — Выпей хорошенько с Джалилем и с Омаром. Они за тобой присмотрят. Нам с Робертом надо поговорить.

— Виктор, отвезите меня домой!

Некоторые пассажиры начинали с любопытством и с завистью поглядывать на Краббе.

— Нет. Ты останешься здесь. Джалиль тебя домой отвезет. Ну, Роберт, нам лучше идти.

Джалиль смотрел, как они вместе уходят. И сказал:

— Он уже больше женщин не любит. Только мальчиков любит.

— Ох, заткнитесь, Джалиль.

— Любит китайских мальчиков. А я женщин люблю.

Глава 2

Скрипки допиливали фигурацию вверх к последнему аккорду, где альт намеком вроде бы спародировал главную тему, а виолончель ухнула прямо вниз к мрачной, самой низкой струне. Тут пленка докрутилась до конца, вырвалась из кассеты, захлестала, кружась и кружась. Краббе выключил магнитофон. В тишине сохранялся образ квартета в целом, четкий, хотя как бы видимый на расстоянии, так что форма оказывалась яснее деталей. Первая часть как будто предлагала программу, каждый инструмент по очереди представлял национальный стиль, — журчащая индийская кантилена виолончели, кампонгская мелодия альты, пентатоническая песнь второй скрипки, первая добавляла чуть-чуть чисто западной атональности. Потом скерцо скрипуче все это обработало, но оставило без разрешения. Медленная часть навевала мысль о какой-то тропической утренней атмосфере. Короткий финал, ироническая вариация пресного мотива «общечеловеческого братства». Юное произведение, во многом мальчишеское, но связное, согласованное, демонстрирует примечательную техническую компетентность. Сочинивший его композитор никогда не слышал живого квартета, знакомился с шедеврами только по радио- и граммофонным записям, а некоторые оркестровые произведения — Малера, Берга, Шенберга — изучал, вообще никогда не слыхав.

И все-таки партитура симфонии, лежавшая на коленях у Краббе, — аккуратная паутина точек, штрихов, загогулин, родственная китайской каллиграфии, — похоже, уверенно распоряжалась силами оркестра, может быть, в слишком крупном масштабе, прибегая к неортодоксальным сочетаниям, — например, ксилофон, арфы, пикколо и три трубы, — с точными сигналами динамики и экспрессии.

Краббе взглянул на Роберта Лоо — Моцарт, Бетховен и Лоо — и ощутил раздражение оттого, что он не проявляет никаких признаков гордости или смирения, никакого волнения, даже ремесленнической неудовлетворенности. Он просто внимательно изучал часть собственного квартета, заметив:

— Вторая скрипка берет просто ля вместо ля-бемоль. Моя оплошность. Ошибся при переписке.

Краббе снова спросил:

— Что сказали?

— Как я вам уже рассказывал, не очень много. Мистер Криспин

сказал, местами партия скрипки трудная, мистер Шарп сказал, взять один аккорд на дискантовой струне альты нельзя, мистер Бодмин сказал, ему нравится партия виолончели.

— А Шварц?

— Ох, да. Мистер Шварц просил меня напомнить вам про него. Сказал, жалко, что миссис Краббе вышла замуж, перед ней была перспективная музыкальная карьера. И сказал, очень жаль, что она умерла.

Вот как. Музыканты бывают бесчеловечными, музыканты — лишь функция, сами они инструменты, на которых играет музыка. Впрочем, ему, в конце концов, всего-навсего восемнадцать с восемнадцатью летней желторотостью; в конце концов, английский для него только второй язык, он глух к его гармонии. Но теперь Краббе видел в Роберте Лоо довольно дремучего парня, не слишком умного, не столь эмоционально зрелого, как надо бы; связанного талантом, довольно случайно избравшим его, заставив в четырнадцать самостоятельно учиться читать музыку, в шестнадцать корпеть над Штайнером, Праутом, Хиггсом, Форсайтом, сочинить в восемнадцать два произведения, может быть, гениальных, по предположению Краббе. Краббе точно знал, что фактически Роберт Лоо ему не нравится. Его уязвляло отсутствие признательности (разумеется, дело не в робости, когда видишь с такой колоссальной уверенностью написанную симфонию) за хлопоты, за потраченные Краббе деньги, — билет на самолет до Сингапура и обратно, карманные деньги, расходы на отель, письма Шварцу, работникам малайского радио, сделавшим запись. Роберт Лоо принял все это спокойно, наряду с прочими дарами Краббе. Среди которых будет обучение в Англии — бог знает, как устроенное, — и исполнение симфонии.

— Что Шварц сказал про симфонию?

— Он сказал, очень сыро. Но кажется, заинтересовался одной струнной частью. Переписал в тетрадь несколько тем. Сказал, покажет своим друзьям в Англии.

— В самом деле? Значит, можно ждать появления безвкусной пьески под названием «Восточная зарисовка», «Воспоминание о Сингапуре» или еще что-нибудь, не менее банальное. Шварц всегда любил чужие темы.

— Не важно.

— Ну, кажется, мы не слишком продвинулись. Знаю, сделали запись квартета, — уже кое-что, — но я думал, Шварц захочет помочь. У него все связи. У меня никаких. Хотя, наверно, незначительные музыканты никогда не отличаются чрезмерной щедростью. Музыка — развращающее искусство.

— Я не понял.

— И не надо. Просто пиши дальше, вот твое дело. От деятельного мира держись подальше. Попробую ткнуться в Британский совет, в Министерство информации... ох, много чего можно сделать. Мы добьемся исполнения симфонии. Выпустим тебя в Европу.

Никакой благодарности. Роберт Лоо только сказал:

— Думаю, отец меня в Европу не пустит. Понимаете, бизнес, а я — старший сын. Он хочет, чтоб я на бухгалтерские курсы пошел.

— Я с твоим отцом снова поговорю. Разве он не понимает, что ты — первый настоящий композитор в Малайе? — Краббе вытащил сигарету из ящика на столике с джипом. — Только вряд ли я для него большой авторитет. Масса народу считает музыку чем-то вроде бананов, в любом случае, не тем, что можно записывать на бумаге.

— Он не хотел, чтобы я уезжал в Сингапур. Момент, говорил, неудачный, конец месяца, время отсылать счета. Теперь они запоздают. А я ему сказал, что вы требуете, потому что квартет Шварца там только на два дня, а мне полезно встретиться с мистером Шварцем.

— Значит, твой отец обвиняет меня?

— О да, в какой-то мере. — Роберт Лоо ответил Краббе спокойным взглядом. — Понимаете, мне так легче. Лишних неприятностей не хочу. Я не могу работать, когда люди все время кричат. А вы состоите в правительстве, мой отец думает, будто можете людям приказывать, и против неприятностей не возражаете.

— Слушай, Роберт, — раздраженно сказал Краббе, — какого черта ты хочешь?

— Хочу жить спокойно, музыку писать.

— Не хочешь учиться? Ты умный, но всего не знаешь. Да ведь это и невозможно в твоем возрасте.

— Сам могу все узнать. Я привык. Классный руководитель в школе знал, что я сочиняю, но не помогал. Никто не хотел помогать. Теперь сам могу справиться.

— Ясно. Белый человек унизил тебя, да?

— Я этого не говорил. Я хотел сказать, меня считали сумасшедшим за то, чем я занимался. Оставили в покое, позволили заниматься. Наверно, я должен быть благодарным за это. Однако помочь не хотели.

— Разве я не помог?

— О да. — Роберт Лоо сказал это неубедительно и не убежденно. — Спасибо, — формально добавил он. — Я услышал свой квартет. Получил подтверждение. Знал, приблизительно так и должно прозвучать.

— Тебе разве не интересно? Не хочется слышать живой оркестр? Знаешь, он лучший в Европе.

— Конечно. Слышал на пластинках. Наверно, хорошо бы, — добавил он без особой уверенности.

— Не хочешь слышать собственную симфонию?

— Ох, да ведь я ее слышал. — Роберт Лоо терпеливо улыбнулся. — Каждый раз слышу, когда вижу партитуру.

Краббе встал с кресла, зашагал по гостиной. Вошел в пояс солнечного света из окна, уставился на мгновение на пальмы, на правительственные здания, мгновение тупо гадал, что он вообще здесь делает, налил себе джинну с водой.

— Значит, — сказал Краббе в спину юноше; узкий затылок, прилизанные волосы, белая рубашка, запачканная в дороге, — ты просто пишешь для себя, так? Не думаешь, будто другим захочется послушать. И не особенно любишь свою страну.

— Страну? — озадаченно оглянулся юноша.

— Возможно, Малайя когда-нибудь будет гордиться большим композитором.

— А, ясно. — Он фыркнул. — Не думаю.

— Музыка может стать важным делом для ищущей себя страны. Музыка создает некий образ единства.

— Я не понимаю.

— Наверно. Твое дело, как я уже говорил, просто писать. Но даже у композитора должно быть какое-то чувство ответственности. Лучшие композиторы были патриотами.

— Элгар ^[9] не лучший композитор, — заявил Роберт Лоо с самодовольным юношеским догматизмом. — От его музыки меня тошнит.

— Но посмотри, что сделал Сибелиус для Финляндии, — предложил Краббе. — А Де Фалья для Испании. А Барток и Кодали...

— Народу Малайи нужен только американский джаз и музыка ронггенга. Я пишу не для Малайи. Пишу потому, что хочу писать. Должен писать, — признал он и смутился, ибо упомянул демона, одержимость. Едва не предстал на виду без одежды.

— Ну, в любом случае, я сделал все возможное, — заключил Краббе. — Ради этого. — И махнул сигаретой на рукописную партитуру симфонии. — И ты должен ехать учиться. Не успокоюсь, пока не увижу тебя на борту парохода. — Впрочем, конечно, раздумывал он, никогда не знаешь, правильно ли поступаешь. Может быть, Роберт Лоо отправится в Лондон и, развращенный новой средой, напишет музыку в стиле Руббры

или Герберта Хауэлса. В Париже он может утратить уникальную индивидуальность, пропитавшись Надей Буланже [\[10\]](#). Он нуждается в наставлении, а единственный человек, кому Краббе доверил бы это, мертв. Краббе достаточно разбирался в музыке, чтобы удостовериться в собственном и в то же время малайском голосе Роберта Лоо. Вальс и лендлер никогда не уходили из музыки Шенберга; точно так же Роберт Лоо впитал с молоком матери сотни разноречивых уличных песен, ритмы многих восточных языков, воспроизводя их в звуках духовых и струнных инструментов. Это была малайская музыка, но услышит ли ее Малайя?

— Скажи, Роберт, — грубо спросил Краббе, — ты был когда-нибудь с женщиной?

— Нет.

— Кроме музыки, любишь кого-нибудь или что-нибудь сильно?

Юноша с полминуты серьезно думал, а потом сказал:

— По-моему, мать люблю. Про отца не уверен. Всегда очень любил самую младшую свою сестру. — Помолчал, видно, честно стараясь пополнить каталог, скудость которого как бы выстудила теплую комнату. — Люблю кошек. Есть в них что-то такое... — добавил он, не смог найти слов, и беспомощно договорил: — Замечательное.

— Бедный Роберт, — сказал Краббе, подойдя к нему, стиснув очень худое плечо. — Бедный, бедный Роберт.

Роберт Лоо взглянул на Краббе снизу вверх с неподдельным изумлением в маленьких глазах без ресниц.

— Мистер Краббе, я не понимаю. Просто не понимаю. У меня есть все, чего я хочу. Вам нечего меня жалеть.

На самолет Маньям опоздал. Специально. Дойти мог без помощи, мог без особенной тошноты пережить полет, — несмотря на удар в живот, — но стыдился и злился на расползшийся под левым глазом синяк и на сильно распухшую верхнюю губу. Теперь он лежал на свободной постели в доме доктора Сундралингама и говорил:

— Что сказали бы, войди я в таком виде в офис? Посмеяться могли. А начальник полиции рассердился бы. Мог бы подумать, я дрался.

— Так ты дрался, — подтвердил Сундралингам, — в определенном смысле.

— Перед Богом клянусь, я его пальцем не тронул. А он нечестно получил преимущество. Припер меня к стенке под средним гринвичским временем. Там же все инструменты, радио, датчики. Представьте, я нес бы ответственность за поломку чего-нибудь. Да еще самолет подлетал. Он очень нечестно воспользовался преимуществом. — При распухшей губе и

окостевшей челюсти слова выходили полупережеванными.

— Мы за тебя дрались, — пропищал Арумугам. — За друга — первый долг. — В ушах у него до сих пор стоял шум, голос австралийского пилота, который запрашивал скорость ветра и говорил: «Что там за чертовщина творится?» Драка широко транслировалась, ее слышали в половине самолетов и аэропортов Востока.

— Не могу вспомнить лучшее средство для подбитого глаза, — признал Сундралингам. — Так долго участвовал в кампаниях против фрамбезии [\[11\]](#), что подзабыл общую медицину. Некоторые рекомендуют кусок говядины, но не думаю, будто это годится индусу. Может, рубленую свинину?

— Крови мало, — пропищал Арумугам. — Надо крови. — Речь его звучала как у молодого мастера Пэви в роли Иеронимо.

— Холодные компрессы, — прописал доктор Сундралингам. — И постельный режим. Я пошлю официальное извещение в Паханг.

— Я буду здесь в безопасности? — с опаской прошамкал Маньям. — Я буду здесь в безопасности целый день один?

— Мой слуга тут все время, — успокоил его Сундралингам. — Малаец, но хороший. — Этот самый малаец стоял возле двери в комнату больного, сгорбленный, с тяжелыми челюстями, обезьяноподобный, конечный продукт бог весть какой смеси аческих пиратов, аборигенов-бушменов, бандитов буги, долго сидящих в засаде охотников за головами. Он с удовлетворением смотрел на разбитое лицо Маньяма, воркуя про себя.

— Если он определенно лишится работы, — невнятно промямлил Маньям, — если это случится, возможно, попробует меня снова достать. Может прислать людей с топорами. Наверно, в конце концов, надо было мне сесть в самолет. — Но мысленно видел хохочущий офис, слышал расспросы начальника. — Нет, нельзя. Вижу. Надо было остаться. Только всем расскажите, будто я уехал. Скажите, поездом вернулся.

— Да, да, да.

— Вайтилингам нас подвел, — провизжал Арумугам. — Знаете, он же был чемпионом Калькуттского университета в полутяжелом весе. Очень быстро справился бы с нашим другом малайцем.

— А где был Вайтилингам?

Парамешваран, учитель, тихо сидевший, попыхивая трубкой, у ножки кровати, вытащил изо рта трубку.

— Могу догадаться где, — сказал он. — Могу поспорить, дома у моей коллеги мисс Розмари Майкл.

— Но он черный чемодан с собой взял.

— Для отвода глаз, — объяснил мистер Парамешваран. — Стыдится, не хочет огласки. — Сунул трубку обратно, кивнул несколько раз. Средних лет, седеющий, с уютным брюшком, любитель гольфа, — в кармане рубахи соском торчала метка для мяча, — он представлял собой фотографический негатив любого пригородного англичанина. Он был тамилем Джафны, но также ротарианцем [\[12\]](#). Знал цитаты из «Золотой сокровищницы», пригодные для послеобеденных спичей, даже несколько латинских афоризмов. В себе не был вполне уверен, трепетал на пороге большого мира за пределами Джафны. Слишком далеко не ездил. Любил повторять: «Молодежь домоседлива». Еще имел жену, детей (жена, огорчительно, вне подозрений, — чистокровная уроженка Джафны), никогда не ходил к куртизанкам. Впрочем, видно, знал про них, и, видно, не одобрял.

— Ты уверен? — спросил Сундралингам. — Как-то не похоже на Вайтилингама.

— Нет. Это только догадка. Но она его называла в учительской другим дамам среди бесчисленных мужчин, соблазненных ее прелестями.

— Соблазненных? — с испуганным визгом повторил Арумугам.

— Соблазненных ее прелестями. Так она сказала. Хотя говорила про многих мужчин.

— Я эту даму не знаю, — проямлил Маньям. — Никогда не видал.

— О, по-моему, не лишена привлекательности, — сказал Парамешваран. — Хотя не в моем вкусе. Кроме того, христианка, да еще бесстыжая.

— Она из очень низкой касты, — добавил Сундралингам. — Я знал ее родителей в Куала-Ханту. Она знает, что я их знал, и все равно мне однажды представилась балийской принцессой. В другой раз сказала, будто наполовину англичанка, наполовину испанка. Говорит, мол, благодаря испанской крови легко загорает. В Англии, говорит, была совсем белой. Видите, презирает собственную расу.

— Конечно, — подтвердил Маньям, — касты своей ей и надо стыдиться.

— Слишком уж много всякого такого, — заключил Сундралингам. — Слишком много презрения к собственной расе, слишком много презрения к расам других людей. Это будет большой бедой для Малайи. Возьмем хоть того самого Сеида Омара. Бешено ненавидит тамилев. Вообразил, будто против него крупный тамильский заговор. Теперь пуще прежнего копит ненависть из-за полученной сегодня взбучки. Но лично я не хотел его бить, и Арумугам, по-моему, тоже. Верите ли, мне было жалко его, лежавшего у подножия лестницы. Прискорбно было видеть его в дурной дешевой

рубашке, сплошь в одних кинозвездах, лежавшего в крови.

Маньям запротестовал разбитыми губами:

— Смотри, что он со мной сделал. Он получил по заслугам.

— Да, да. Только ему не надо бы так ненавидеть. Все беды идут из его бедных сбитых с толку мозгов. — В больших коричневых глазах Сундралингама сверкали искорки.

— По такому случаю не стоит сентиментальничать, — возразил Парамешваран. — Я его семью знаю, дурная семья. Учю семерых детей Сеида Омара. Самый старший, Хасан, худший из худших. Ленивый, грубый, бесчестный, с длинными волосами, в американской одежде, шляется по городу с такими же дурными друзьями. Малайцы по сути своей ленивые, неумелые. Знают, что ничего в них хорошего нету, но стараются нагло сделать по-своему. Смотрите, что они тут пытаются сотворить. Пытаются закрыть бары, танцплощадки, китайский свиной рынок, ради священного имени ислама. Но по-настоящему не верят исламу. Лицемерно пользуются исламом, чтобы самим устроиться и господствовать над людьми. Объявляют себя расой господ, а истинную работу делают другие, как нам известно. Если Малайю оставить малайцам, она и пяти минут не проживет.

— Правда, — пискнула пикколо Арумугама. — Может быть, без малайцев получится неплохая страна.

— Малайя — название неудачное, — объявил Сундралингам. — Хотя можно вернуть оригинальное индийское название — Ланкашука. Как уже предлагалось. И все-таки, — добавил он, — если бы только люди делали свое дело, — малайцы работали бы в кампонгах, на заливных полях, индусы по специальностям, китайцы торговали бы, — все, по-моему, были бы вполне счастливы вместе. Вся трагедия в амбициях малайцев. Для них трагедия, — улыбнулся он не без сочувствия.

— Определенно, беда надвигается, — вскричал Арумугам. — Но если мы все будем вместе держаться, не будет никаких проблем.

— Именно поэтому, — подхватил Сундралингам, — мы не должны позволять Вайтилингаму делать то, чего ему не следует делать. Надеюсь, в этих твоих слухах ничего нет, — обратился он к Парамешварану.

Парамешваран, намерившись пыхнуть трубкой, приподнял одну бровь, несогласно поморщился. Маньям вдруг вскричал в ужасе:

— Я только что подумал. — Слуга-малаец притаился за дверью, еще не насытившись невинной радостью от разбитого лица Маньяма. — Я только что подумал, — повторил Маньям. — Слуга твой на рынке расскажет, что я тут. И может быть, Сеид Омар узнает. — Он попытался

встать с койки, но Парамешваран тут же сел ему на левую ногу, одновременно опять толкнул его на подушки и приказал:

— Не будь трусом, мужчина.

— Думаю, — сказал Маньям, — лучше, в конце концов, мне вернуться в Паханг. Можно сесть на вечерний поезд. Можно тихонько пробраться домой. Никто не увидит.

— Не будь трусом, — повторил Парамешваран. — Не стыдно? Смешно бояться малайца.

— Я не трус, — провозгласил Маньям, словно чревовещатель. — Мне просто больше не надо никаких его грязных фокусов.

— Нечего беспокоиться, — сказал Сундралингам. — Если Сеид Омар снова сунется, напустим на него Вайтилингама. Будешь беспокоиться, долго не поправишься. Постарайся успокоиться.

Арумугам кликнул слугу-малайца.

— Мари сини, — пропищал он. Притащился слуга-малаец с разинутым ртом. — Не рассказывай, что этот туан еще тут, — приказал Арумугам на плохом малайском. Слуга кивнул с животным изумлением в глазах. — Помалкивай, и получишь десять долларов.

— Видишь, — сказал Сундралингам. — Никто не узнает.

— Твой старик так отделал тамила, что тот не смог в Паханг уехать, — сказал Идрис бен Суден, друг Сеида Хасана. — У доктора остался. — Хасан загоготал.

Четверо друзей сидели в жаркой палатке, пили апельсиновый сок, коротая скучный длинный субботний день. Таких палаток было много в Парке развлечений, огороженном Венусберге, раскинувшемся в грязи. Была там открытая площадка для танцев под ронггенг, и вонючее кабаре с пивным баром, и два дома с дурной славой, замаскированные под кофейни, и заплатанный киноэкран, на котором крутилась бесконечная эпопея яванского театра теней. Суббота не кончится до захода солнца, до той поры сосуды наслаждений должны оставаться в покое. Только деревянные и пальмовые лачуги были сонно открыты для жаждущих, все китайцы-тукаи дремали над деревянными счётами, официантка-малайка хмурилась над старым номером «Фильма».

Из всех четырех лишь Азман был в полной униформе. Пришла его очередь ее носить. Штаны как водосточные трубы, куртка из саржи с бархатным воротником, галстук-шнурок, — куплено дешево у сурового частника из спецслужбы аэропорта. Хамза, Хасан и Идрис оделись прохладней, но вовсе не так красиво, — джинсы, рубашки с рукавами, закатанными до подмышек. Впрочем, аутентичный тропический костюм.

Еще больше объединяло их с западными собратьями общее желание и готовность потеть и страдать в романтическом наряде, в латах нового рыцарства. Они были честны друг с другом: никто даже не пробовал нарушать распорядок. Скоро у каждого будет свой наряд, а пока о составленной ими единой ячейке, прочно впаянной во всемирное движение, свидетельствовал общий стиль прически: волосы ниспадали на шеи застывшим блестящим потоком, бакенбардами стекали на щеки, роскошно вздымались на низких коричневых лбах. Каждый имел перочинный нож, чтоб строгать дерево, вырезать на столиках в кафе таинственные знаки, еще не использованный с более страшной целью, хотя сверкание лезвия — выскакивавшего из рукоятки под действием пружинки, — представляло устрашающе храброе зрелище. Мальчики никому не желали реального зла, романтики, недоверчивые к порядку, предпочитавшие цвет форме. Им нравилось мутить воду, они враждовали с удовольствием, их музыкой стала сирена полицейского автомобиля, их сердца колотились в темном переулке.

— Достал он его, — объяснил Хасан. — Понимаешь, старался выгнать моего папу с работы, поэтому мой папа его отдубасил. Поколотил, зубы выбил, вышиб потроха, печенку отбил, нос расквасил. — Он радостной пантомимой изображал насилие, приятели хихикали.

Говорили на уличном быстром малайском, непохожем на новый холодный правительственный инструмент, добавляя красочные пятна киношного американского, чтобы поднять свои фантазии на более героический уровень. И теперь Идрис вставлял крики: «Йя, классно! Йя, клево!» — колотя обоими кулаками по краю стола. Азман сказал:

— Хотя твоему папе от него тоже досталось. Твоего папу с лестницы спустили.

— Это не он, — поправил Хасан. — Это двое других. Доктор и тот с девчачьим голосом. — Пропищал флейтой пародию на Арумугама и вдруг приуныл. Не надо было папе так делать. Старомодно, всякие такие драки, пинки, дикий Запад. Кроме того, его папа старик. Это было немножечко недостойно. Крючки для рыбной ловли, ножи, бритвы, велосипедные цепи — другое дело, современное. Он устыдился отца, захотел сменить тему.

— Двинем, — предложил Хасан. — Давайте двигать. Ничего тут нету.

— Ай, мек! — окликнул Хамза. Надутая девушка подошла к столику. Хорошенькая; низкий вырез байю открывал прелестный изгиб теплой молочно-коричневой шеи. Мальчишки поддразнили ее, грубо погоготали. — Я тебе дал пять долларов, — сказал Хамза. — Сдачу хочу

получить.

— Не заплатил еще.

— Заплатил. Дал пять долларов.

— Точно, точно! — крикнули остальные.

Девушка пошла к сонному тукаю.

— Эй, тукай, заплатили пять долларов. Сдачу надо!

— Она говорит, не платил. Плати один доллар.

— Заплатил. Сдачу!

Застрекотали камеры. Азман, скаля зубы, угрожающе хмурясь, двинулся к стойке. Очень медленно, время идеально рассчитано, на саундтреке только подошвы шлепают. Пока никакой музыки, медленно вытащен нож, поднят, нацелен, щелчок, свист выкидного лезвия, лихорадочные подавленные смешки.

— Ладно, чувак. Мы не спорим. Понимаешь, не спорим. — Ласковые угрожающие тона. — Оставь себе деньги. Цыплят покорми. Но сюда мы больше не придем, ясно? — На последнем шипящем острие ножа метнулось к горлу тукая. Снято. Клади пленку в жестянку. И все вышли, жизнерадостные счастливые смеющиеся мальчишки, весело помахав на прощанье. Игра, старик, игра.

Сунув руки в карманы, пинали камешки на Ибрагим-авеню, распевая на аутентичном американском. Велорикши катили вверх-вниз по длинной сияющей улице, высматривая клиента, но еще длилась пятничная сиеста.

— Только ты, — пели мальчишки, — озаряешь мне тьму. — Хасан видел подвешенный перед ним на жарком синем небе, отодвигавшийся на ходу микрофон и, целуя его губами, выливал туда слова.

— Вон он, — сказал Азман, остановившись на полуслове. — Один краб выполз из дома другого. — Малайцы в этом штате называли всех китайцев «краб с клешней» — аллюзия с китайскими блюдами из рубленых кусочков.

— Вундеркинд, — сказал Хамза. Они стояли в ожидании приближения Роберта Лоо. Заведение его отца находилось рядом с Парком развлечений. Шел он как-то семеня, худой, в грязном белом, с кейсом под мышкой. Они все вместе учились в одной английской школе, но Роберт Лоо ушел год назад, получив аттестат. Мальчишки-малайцы отстали, отрастив в третьем классе усы; пропасть между четвертым была просто слишком широкой, не перескочишь. Это их обижало, пятнало их взрослость. Обижало предательство экзаменаторов, явно бравших деньги у китайцев. Обижали китайцы, чересчур богатые, слишком, до чертиков, умные. Обижал кейс Роберта Лоо. Обижал Роберт Лоо.

— Знаю, чего там у тебя, — сказал Идрис. — Ты банк грабанул. Там добыча. — Роберт Лоо не мог уследить за его слишком быстрым, слишком разговорным малайским. Роберт Лоо улыбнулся по-городскому.

— Документы там, — сказал Хамза. — Он их врагам продает.

— Открывай, — велел Азман по-американски. — ФБР.

— Это просто музыка, — улыбнулся Роберт Лоо. — Вам неинтересно.

— Ничего не слышу, — заявил Хамза. — Глохну, наверно. — Приложил к кейсу придержанное рукой ухо, рот разинул, подобно фигляру на сцене. Хохот.

— Музыка на бумаге, — пояснил Роберт Лоо. — Знаете, музыку надо записывать. — Он говорил по-малайски, и, говоря, понимал всю абсурдность произносимого. Музыка по-малайски «бунной-буньян», что значит просто «звуки». Звуки, разумеется, нельзя записывать. — Мне надо идти, — сказал он.

— Поглядим, — решил Хасан. Выхватил из-под руки Роберта Лоо кейс, язычки не отстегивались, взвесил в руке, выхватил пухлую партитуру симфонии. — Музыка, — сказал он. — Стало быть, это музыка. — Держа партитуру подальше от притворно дальнзорких глаз, выпятил живот, запел:

Только ты-ы-ы-ы-ы
Озаряешь мне тьму.

— Ладно, — произнес голос Краббе. — Кончайте. — Роберт Лоо просто стоял, не проявляя ни беспокойства, ни облегчения, ни даже презрения. — Отдай, — сказал Краббе, сердито дыша, уткнув руки в боки, расставив ноги. — Ну, отдай. — Озадаченный надутый Хасан повиновался. Все мальчишки надулись и озадачились. Что вообще за шум? Это, в конце концов, просто шутка. Сегодня вообще пятница, никто не работает, а Краббе права не имеет изображать классного руководителя. Согнувшийся рикша заинтересовался. Краббе его подозвал. — Давай, — обратился он к Роберту Лоо, — садись. Он тебя домой отвезет. — И дал рикше пятьдесят центов, все еще как бы подавляя злость. Роберт Лоо влез, зажав под мышкой спасенный кейс, молча. — Пошел теперь, — велел Краббе рикше. — Перги, перги. — Малайцы озадаченно смотрели, как Роберта Лоо, не оглянувшегося назад, рывками увозят прочь. Краббе дождался, пока рикша проедет ярдов сто. И повернулся к малайцам, сказав: — Что за страну вы хотите построить? Она должна быть для всех. Для китайцев и

индусов, для евразийцев и белых. Один вид китайца внушает вам желание его преследовать. Вам хочется вышибить дух из тамиллов. И на меня, наверно, хотите наброситься, правда? Ради бога, повзрослейте. Вам всем тут вместе жить, вам... Ох, нету никакого смысла. — И ушел к себе в дом.

— Апа ада? — спросил Хамза. «Чего это он?» Остальные недоуменно тряхнули пышными чубами. В голове у Хасана медленно расцвело озарение.

— Наверно, я знаю, — сказал он; невежда, но кое-что повидавший на свете. И добавил: — Хотя, может быть, ошибаюсь.

— Ну, чего?

— Не знаю.

— Чего тогда говоришь, будто знаешь?

— А, плевать.

Они швырнули несколько безобидных камешков в автомобиль Краббе, потом, распевая, пошли своей дорогой. Хамза предложил зайти в китайскую граммофонную лавку, притвориться, будто им нужны пластинки. Мысль хорошая, признали все. Можно будет неплохо провести время. Заход солнца официально провозгласит муэдзин, появятся шлюхи и сводни, приключения затрепещут в тени.

Лим Чень По пришел к чаю. Пил его на английский манер, угощаясь сэндвичами с помидорами, фруктовым пирогом, заметил с характерным для Бейллиола ^[13] произношением:

— Жаль, что тут пышек нельзя раздобыть.

Это был адвокат из Пинанга. Каждые два месяца приезжал на два дня посмотреть, как справляется его помощник, который вел дела на этой стороне полуострова; время от времени сам брался за дела. Заодно навещал друзей, одним из которых был Краббе. Для Краббе он был дыханием дома, беспримесной сутью англичанства. Он символизировал Хенли и Аскот ^[14], приемы в саду у викария, тепловатое горькое пиво, готические вокзалы, лондонский смог, меланхолию воскресных летних вечеров. Пухлый, симпатичный, китайская кровь чуть заметна. Только маленькие глаза без ресниц и нос чуть приплюснут. Но английский голос, английские жесты поглощали эти детали, как котел густого супа поглощает пластинку акульего плавника. Теперь он рассуждал о только что улаженных проблемах в Пинанге — терроризм, комендантский час на мирном некогда острове, — и о проблемах, которые, как он слышал, скоро возникнут в Пераке. Его предупредили, поездку в Ипох лучше отменить.

— Кто все это начинает? — спросил Краббе.

— Дорогой друг, вопрос довольно наивный, не правда ли? Все просто начинается. Одни винят малайцев, другие китайцев. Возможно, малаец погрозил кулаком ростовщику четьяру, из-за чего по неким туманным причинам разразился скандал в китайском кабаре. Или британский томми ^[15] в стельку надрался в Куала-Лумпуре, а тамилы принялись плевать в полицейского-сикха. Факт тот, что расы, населяющие эту пикантную и немыслимую страну, просто не ладят. Правда, была как бы иллюзия лада при полном британском контроле. Но самоопределение — смехотворная мысль в стране с таким смешанным населением. Здесь не существует народа. Нет общей культуры, языка, религии, литературы. Я знаю, малайцы хотят это все навязать остальным, только явно ничего не выйдет. Будь я проклят, язык у них не цивилизованный, всего две-три книги — скучные, плохо написанные, — их вариант ислама нереалистичен и лицемерен. — Он выпил свой чай и, как всякий англичанин в тропиках, начал после него потеть. — Когда мы, британцы, уйдем, здесь в конце концов будет ад. А уйдем мы довольно скоро.

— Не знал, что вы думаете об уходе.

— Да. Думаю в Лондон вернуться. У меня там связи, друзья.

— В определенном смысле винить надо малайцев, — решил Краббе. — Я в них разочаровался.

— Вините, если угодно, средний класс малайцев, политиков, но не вините парней из кампонгов. Мир для них вряд ли меняется. Только малайцев среднего класса никогда не должно было быть, они попросту не годятся по типу для среднего класса. Им положено оставаться бедными живописными детьми земли.

— Все равно, — сказал Краббе, — мне не хочется признавать невозможность что-нибудь с этим сделать, даже в столь поздний час. В прошлом мы многое упустили, но винить, собственно, некого. Вечное малайское лето, вечное британское владычество. Ни времен года, ни перемен. Все шло вполне удовлетворительно, все срабатывало. И припомните, британское владычество никого за уши не тащило. Люди просто приезжали, потому что тут были британцы. Даже малайцы. Гуртами тащились с Явы, с Суматры...

— Что же, по-вашему, можно сделать?

— Ох, не знаю... Наверно, какое-то образование для взрослых. Религия, конечно, проблема; скверная проблема.

— Ну как вам не стыдно, — усмехнулся Л им Чень По. — Чего вы хотите? Рационализма XIX века, деизма Вольтера? Знаете, мы живем в религиозные времена. На мой взгляд, возможное решение — англиканство.

Я считаю англиканца-малайца любопытной концепцией.

— Впрыснуть чуточку скептицизма под внешний конформизм, — сказал Краббе.

— Чистое англиканство, не так ли? А что делать с табу на еду? Кажется, именно из-за этого всегда начиналось кровопролитие. Прошло ровно сто лет после безобразных событий в Индии. Не похоже, чтоб индусы и мусульмане пришли к более рациональному взгляду на бифштекс с кровью и свиное сало, невзирая на вековое господство цивилизованной Британии.

— Можно несколько прояснить. Обсудить, скажем, межрасовый брак...

— На обсуждениях далеко не уедешь.

— Это начало, — сказал Краббе. — Дискуссия — это начало. Даже собрать все расы в одном месте — уже кое-что.

— В Сингапуре поговаривают о Комитете по межрасовым связям. Ничего хорошего не выйдет.

— Ох, Чень По, вы просто зануда. Истинный распроклятый китаец.

— Китаец? — Лим Чень По казался оскорбленным. — Что вы имеете в виду?

— Вашу божественную пренебрежительную надменность. Вы фактически считаете все другие восточные расы не более чем каким-то комическим вывертом. Это освобождает вас от обязанности что-нибудь для них делать. У вас нет чувства ответственности, вот в чем ваша беда.

— О, не знаю, — медленно проговорил Лим Чень По. — У меня жена, дети. У меня отец живет в Хаунслоу. Я по крохам раздаю все, что имею. И чертовски много работаю именно потому, что имею чувство ответственности. Я забочусь о своей семье.

— Но у вас нет страны, нет народа, принадлежности к общности, которая шире вашей семьи. Допускаю, что вы не так плохи, как Роберт Лоо. Тот уж совсем бессердечен. Привязан лишь к несколькимдесятиям писчей бумаги, которые я ему купил. Тем не менее именно он, как ни странно, убедил меня в возможности что-нибудь сделать в Малайе. Может быть, это, конечно, чистая иллюзия, но образ там, в его музыке. Национальный образ. Он действительно синтезировал малайские элементы в своем струнном квартете, и, по-моему, еще лучше в симфонии. Я ничего подобного еще не слышал. Должен добиться ее исполнения.

Чень По зевнул.

— Музыка тоску на меня нагоняет, — сказал он. — И ваш либеральный идеализм вгоняет меня в такую же тоску. Пусть Малайя сама

разбирается в своих проблемах. Мне есть о чем думать и без вмешательства в чужую политику. У моей младшей дочери корь. Жена хочет собственный автомобиль. В квартире надо шторы менять.

— Жидкий чай под шелковицей. Одинокий цветок в изысканной вазе. На стенах развешаны великолепные каллиграфические идеограммы, — сыронизировал Краббе.

— Если угодно. Крикет по воскресеньям. Немного мартини между церковью и ленчем. Гладиолусы под открытым окном. Это столь же ваш мир, как мой.

— Вы никогда нас не понимали, — сказал Краббе. — Никогда, никогда, никогда. Наш мандаринский мир умер [\[16\]](#), исчез, а вы только этого ищете в Англии. По-вашему, старый Китай живет в Англии, но вы ошибаетесь. Он скончался сорок лет назад. Я типичный для своего класса англичанин — чокнутый идеалист. Что я, по-вашему, делаю тут в начале среднего возраста?

— Извлекаете из непонимания изощренное мазохистское наслаждение. Делаете все возможное для аборигенов (он выдавил это слово, как сценическая мем-сахиб), чтобы иметь возможность потирать руки над неблагодарностью.

— Ну, пускай. Но у меня еще год до возвращения домой, я намерен сделать что-нибудь полезное. Впрочем, не знаю, что именно...

На западном небе возник байрейтский монтаж Валгаллы. К нему сейчас поворачиваются мусульмане, поклоняясь, как зороастрийцы огню. Поистине волшебный час, единственный за весь день. Двое мужчин в белом, в плетеных креслах на веранде, перед бугенвиллеями и деревом папайи, чувствовали, будто вступают в какой-то восточный роман. Скоро придет время джина с тоником. Неслышно войдет слуга с серебряным подносом, потом все станет пропитываться синевой, лягушки заквакают, птица-медник поднимет шум, точно водопроводчик. Восточная ночь. «Когда я сейчас здесь сижу, в клубах лондонского тумана, обнимающих мое жилище, под треск газового камина, при домоправительнице, готовящей вечерние котлеты, ко мне возвращаются те невероятные ночи со всеми их тайнами и ароматами...»

Без стука вошла Розмари Майкл, неся свою смехотворную красоту по гостинной на высоких цокавших каблучках.

— Виктор! — вскричала она, а потом: — Ой, у вас гость.

— Это, — представил Краббе, — мой друг, мистер Лим, последний англичанин.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Розмари с надеждой и восхищением вслушивалась в бейллиолекую интонацию. Ничего не упускающим женским взглядом она видела, что мистер Лим не англичанин, но его выговор зачаровывал и сбивал с толку. Вдобавок она была чуточку навеселе. Неуклюже продемонстрировала мистеру Лиму самые отборные, самые изысканные гласные Слоун-сквер и, садясь, — соблазнительно сверкнувшие круглые коричневые коленки.

— Мистер Лим, вы приехали здесь поселиться?

— Нет, нет, просто заехал. На самом деле я живу в Пинанге.

— Мистер Лим, вы знаете Лондон? Я люблю Лондон. Положительно обожаю.

— Да, я знаю Лондон.

— А Шефтсбери-авеню знаете, и Пикадилли-Серкус, и Тоттеихэм-Корт-роуд?

— О да.

— А Грин-парк, угол Гайднарха, Найтсбридж, Южный Кенсингтон?

— Да, да. Всю линию Пикадилли.

— Ох, прекрасно, не правда ли, Виктор, прекрасно, просто прекрасно!

Лим Чень По был англиканцем и крикетистом, но впустил себе в голову маленького китайца, намекнувшего с почти незаметной улыбкой, что пришла любовница Краббе, пора уходить.

— Мне пора, — сказал он. — Спасибо за гостеприимство, Виктор. До свидания, мисс...

— Розмари. Друзья называют меня Розмари.

— Изысканное имя, в высшей степени уместное своей изысканностью.

— О, мистер Лим. — Сплошное олицетворение девичества. Когда Лим Чень По отъезжал, она стояла у окна, махала ему, потом вернулась на веранду. — Ой, Виктор, до чего милый мужчина. И какой дивный голос. Думаете, я его привлекла?

— Кто бы устоял?

— Ох, Виктор, — захныкала она, потом надула губы, сбросила туфли, откинулась в кресле и сообщила: — Я напилась с Джалилем.

— Что Джо скажет по этому поводу? Кто-нибудь непременно напишет и сообщит.

— Наплевать. К черту Джо. Он меня очень-очень разочаровал. Я ждала кольцо, а получила одну распроклятую Блэкпулскую башню. Никогда ему этого не прощу.

— Но он же не присылал Блэкпулской башни.

— Нет, он ничего не прислал. Ох, Виктор, Виктор, я так несчастна.

— Выпей.

— Но я голодная. — Жалобный ротацизм маленькой девочки.

— Тогда пообедай. По пятницам я обедаю в семь тридцать. Сперва выпьем. — Краббе крикнул слуге: — Два оранг!

Розмари выпила несколько порций джина, потом погрузилась в реминисценции.

— Ох, Виктор, как было чудесно. Меня показывали по телевизору в сари, целых десять минут потратили на интервью, вы бы видели, сколько я писем на следующий день получила. Пятьдесят, нет, сто брачных предложений. Но я говорю, обожду Того Самого, даже если всю жизнь придется дожидаться, и...

— А теперь ты нашла Того Самого.

— Нет, нет, Виктор, я его ненавижу, он так со мной обошелся, а ведь я могла выйти за управляющего, и за члена парламента, и за епископа, и, о да, за герцога. Его звали лорд Посеет.

— Того самого герцога?

— Да. Но я себя сохранила, отсылала им назад цветы, норковые шубы, никогда ни с кем не спала, а могла бы спать с кем пожелаю. Я была девушкой, пока не появился Джо, Виктор, я все ему отдала, все. — Она глотала слезы, утратив человеческий вид. — Он все от меня получил.

— А теперь ты его ненавидишь.

— Я люблю его, Виктор, люблю его. Он единственный мужчина на свете.

— Хочешь сказать, тебе нравится спать с ним?

— Да, Виктор, я его люблю. Это была любовь с первого взгляда.

Розмари от души пообедала. На обед была жареная курица под хлебным соусом, и сперва она все лихорадочно залила кетчупом, потом, соусом «Ли энд Перрин», частенько во время еды добавляя в тарелку приправы. С кофе выпила «Куантро», потом «Драмбюи». Потом откинулась в кресле.

— Виктор, — сказала она, — Джалиль правду сказал?

— Про Джо?

— Нет, про вас. Будто вам уже не нравятся женщины.

— Некоторые нравятся.

— Он сказал, вам мальчики нравятся.

— Так и сказал, господи помилуй?

— Все толкуют про вас и про того самого мальчишку Лоо. Вот что сказал Джалиль.

— В самом деле?

— Виктор, это правда?

— Нет, Розмари, неправда. Он пишет музыку, я пытаюсь помочь.

Розмари хихикнула.

— Не верю.

— Как угодно, моя дорогая.

Розмари приняла позу глубокого расслабления, раскинула руки-ноги, сонно вымолвила:

— Виктор.

— Да?

— Китайцы то же самое, что англичане?

— Да.

— Откуда вы знаете?

— Это просто само собой разумеется.

— А. — Птица-медник ковала, медленно отбивая минуты.

— Виктор.

— Да?

— Вам можно, если захотите.

— Что мне можно?

— Ох, Виктор, Виктор. — Она села и яростно крикнула: — Я так одинока, я так одинока, меня никто на свете не любит.

— Нет, тебя многие любят.

— Джалиль про вас правду сказал, правду, правду. Никогда в жизни меня так не оскорбляли.

— Возможно, я не так чувствителен, как его светлость.

— Я домой пойду, домой.

— Я тебя подвезу. — И Краббе с большой готовностью пошел к крыльцу, где стоял его автомобиль.

— Пешком дойду, спасибо. Не хочу ехать в вашей машине. Я вас ненавижу. Вы такой же дурной, как все прочие, а я думала, что другой. — Она сердито обулась и вымелась со своей смехотворной красотой, после чего комната не опустела.

Краббе устроился за вечерним чтением.

Глава 3

Работа у Виктора Краббе была вполне подходящей, несколько сумрачной. Исполняя обязанности руководителя системы образования штата, он медленно уступал пост малайцу. Порой этот малаец, моложавый мужчина с обаятельнейшей улыбкой, почтительно относился к Краббе, проявляя великое рвение к обучению; порой являлся в офис, точно во сне его посетил ангел, всему обучив с помощью безболезненной гипнопедии. Потом малаец, по-прежнему в высшей степени обаятельно, стал давать Краббе практические указания — усмирить бунт учащихся местной школы; составить на вежливом английском языке письмо директору, извиняясь за потерю денежной расписки; подписать бумагу; послать за кофе и слойками с кэрри; вообще приносить пользу. Сам малаец посиживал за столом, курил сигареты с мундштуком «Ронсон», звонил китайцам-подрядчикам, высыпал им чертей, — сперва громко объявив свое официальное звание, — время от времени драматически хмурился над толстыми папками. Поэтому Краббе низвел себя в ранг герцога из «Меры за меру», бога, которого каждый может потрогать; бродил по городским школам, давая детям забавные уроки («этот белый всегда нас смешит, очень радует»). Иногда пытался совершить более впечатляющее доброе дело, и нынче утром посетил главу Информационного ведомства штата, держа на уме определенные планы.

Нику Хасану нравилось, чтоб его звали Ники. Английское имя считалось в его кругу шиком. Приятели Ники, Изаддин и Фарид, звались Иззи и Фред, а Лахман бен Дауд именовался Локман Б. Дауд с ударениями на первых слогах. Весьма начальственная, весьма американская, вполне законная транслитерация исламского имени. Ник Хасан старался слепить собственный имидж соответственно прозвищу, восседал боссом совместного спекулятивного предприятия за своим официальным безобидным столом, усатый, аккуратный, в деловом гуле кондиционера. Краббе его поприветствовал, добросовестно улыбаясь при взаимном обмене приветствиями. Ники и Вики. Образование и Информация. Потешная команда новой Малайи.

Первым делом Краббе рассказал Нику Хасану про Роберта Лоо и его симфонию.

— Понимаете, — сказал Краббе, — кроме эстетической ценности, о чем я судить фактически не в состоянии, просто-напросто очень кстати с политической точки зрения.

— Музыка? С политической?

— Да. Вам, конечно, известно, что Падеревский стал премьер-министром Польши. Падеревский был великим пианистом.

— Это было где-то до меня.

— Исполнение этой симфонии может стать серьезным актом независимости. «Мы в Малайе стряхнули ошметки чужой культуры. Мы переросли сопилку и двухструнную пиликалку. Мы возмужали. У нас есть собственная национальная музыка». Представьте, как полный оркестр играет в столице симфонию, представьте радиотрансляцию: «первая настоящая музыка из Малайи»; представьте гордость простого малайца. Вы обязаны что-нибудь сделать.

— Слушайте, Вики, простому малайцу плевать, черт возьми. Вы не хуже меня знаете.

— Да, но суть не в том. Это культура, а в цивилизованной стране должна быть культура, хотя бы люди этого или нет. «Наша национальная культура» — одно из общих клише. Ну, вот вам и первый кусочек национальной культуры: не индийской, не китайской, а просто малайской, вот так.

— Что за штука? — подозрительно спросил Ник Хасан. — Современная? Ну, знаете, вроде Гершвина? Мотив приятный? Вы правда думаете, будто она чего-нибудь стоит?

— Стоит, вполне уверен. Я ее не слышал — читал. Так или иначе, дело, собственно, не в том, стоит или не стоит. Это произведение искусства, в высшей степени компетентное, может быть, в высшей степени оригинальное. Только не ждите веселенького саундтрека. Там вообще нет никаких приятных мотивов, но она устрашающе организована, потрясающе богата. Этот парень гений.

— Китаец, да? Жалко. — Ник Хасан скорчил кислую гангстерскую физиономию. — Жалко, что не малаец. Хотя может, конечно, взять этот... как его...

— Псевдоним?

— Правильно, малайский псевдоним. Придаст веса побольше. В конце концов, все знают, что китайцы умные. Мы уже до тошноты про это наслушались. Просто помираем в ожидании появления малайского гения.

— Ну вот вам и малайский гений. Я вполне уверен.

— Если, — предположил Ник Хасан, — если оно чего-нибудь стоит, может быть, пожелают сыграть на торжествах по случаю Независимости. Попытка не пытка. В любом случае, увидят, что мы тут в штате еще живы. Думаете, он не захочет взять малайский этот самый, как вы там сказали?

Знаете, что-нибудь вроде Абдулла бен Абдулла? Тогда в Куала-Ханту будет немножечко другое дело.

— У него, — сказал Краббе, — не будет никаких возражений. Он полностью лишен амбиций. Но, честно сказать, я очень даже против. Зачем ему скрывать настоящее имя, если в этой стране у него равно столько же прав, как у вас? Проклятье, китайцы сделали нисколько не меньше всех прочих, если не больше, для... для...

— Ладно, ладно, — перебил Ник Хасан. — Знаю. Знаю, дорогой коллега. Но вопрос в направлении, знаете. Направление надо испробовать, а потом ему следовать. Я хочу сказать, если честно, направление китайцев — торговля, правда? Деньги в банке, море «кадиллаков». У малайцев ничего нету. Пришла пора что-то им дать. И вот теперь я думаю, такая ерунда...

— Не такая уж ерунда.

— Может стать сенсацией. Сенсацией. Там чего-нибудь поют? Знаете, патриотические малайские слова. Это здорово помогло бы.

— Ничего не поют. Но, — сказал Краббе, — да. Это мысль. Хоральный финал. Бетховен писал, почему бы и Лоо не написать? Тогда публика может купиться.

— А еще если б оркестр вставал время от времени и кричал бы «Мердека!». Вот тогда б в самом деле купились. Тогда дело действительно стало бы политическим. Тогда можно было б исполнить.

— Но, — сказал Краббе, — это уже как бы осквернение. Нельзя так обходиться с серьезной музыкой.

— Вам ведь хочется ее сыграть, правда? Вещь, по вашим словам, политическая. Ну, если сделать ее по-настоящему политической, будет буря аплодисментов. Только, — оговорился Ник Хасан, — она правда хорошая? В самом деле? Не хочу выглядеть чертовым дураком, отправив в Куала-Лумпур кучу дряни. Я хочу сказать, нам про нее известно только с ваших слов.

— Уж поверьте мне на слово.

— Что ж... — Ник Хасан протянул Краббе маленькую голландскую сигару и дал прикурить. — Мы ведь с вами друзья, правда?

— О да, Ники, конечно друзья.

— Я бы, Вики, на вашем месте перестал с этим парнем встречаться.

— Стало быть, люди болтают, да?

— А вы чего ждали? Прямо дар божий для сплетников. Жена ваша вернулась в Соединенное Королевство, с женщинами вы теперь не якшаетесь, дома у вас без конца этот парень толчется...

— Не так часто.

— Достаточно часто. Так или иначе, болтают. И понимаете, из-за этого я попадаю в странное положение, делая для вас такое дело...

— Я сам пошлю эту чертову вещь.

— А тогда, если она чего-нибудь стоит, возникнет вопрос, почему я ее проглядел. Мне только надо, чтоб вы мне сказали, но честно...

— Идите к черту, Ники. Почему я должен расхаживать, опровергая сплетни? Если людям хочется думать то, что они предположительно думают, мне не удастся их остановить. Глупо было бы даже пытаться их останавливать. И вы верите, нет?

— Фактически нет. Я имею в виду, как-то странно, что вас женщины не интересуют, эта самая Розмари все время за вами таскается, да будь оно все проклято, взгляды у меня довольно широкие, столько всякого творится, и, я имею в виду, это же ваше личное дело, правда? Только не надо вам никого сюда впутывать. Понимаете, другие могут попасть в неудобное положение.

— Дорогой вы мой Ник...

— Вики. Меня собираются перебросить на высокое место в Австралию. Слышали?

— Нет. Поздравляю.

Ник Хасан вроде бы не был обрадован по-настоящему.

— За мной присматривают, вот в чем проблема. Все время присматривают, выясняют, гожусь или нет. Да никогда ведь не знаешь, что правильно, а что нет. Пьешь — идешь против ислама, не пьешь — не умеешь общаться. Несколько жен — говорят, в христианской стране не пойдет. Ну, к чертям. — Он отвернулся, сморщился, широко развел руками в недоумении. — Посмотрите на мою жену, вы только на нее посмотрите. Вполне подходящая женщина в прежние времена. Знаете, никакой дома выпивки, нельзя жевать сирех после еды, нельзя рыгать на людях. И ни слова по-английски. И если на то пошло, ни одного распроклятого слова в приличной малайской беседе. Как мне при этом руководить крупным департаментом в Канберре? Как мы все вообще собираемся жить?

— Вы отлично справитесь, Ники. Чересчур беспокоитесь.

— Может быть. Только допустим, кто-нибудь здешний сообщит в Куала-Лумпур, будто я помогаю... Простите, я не хотел. А допустим, кто-нибудь скажет, будто я не помогаю растить местные таланты. В каком я окажусь положении? Ох, Вики, скажите правду.

— Ничего тут такого нет, Ники. Вообще ничего. Поверьте.

— Я всегда вам верил. А теперь не думаю, что кому-нибудь можно

верить. Мы приходим к независимости в атмосфере недоверия.

— Но у меня больше нет никаких ставок в этой стране. Только люди вроде меня способны реально помочь. И мне хочется как-нибудь справиться именно вот с таким недоверием. В первую очередь хочу добиться более полного понимания между расами. Прошлой ночью в постели возникла идея. Надо нам встречаться, скажем, раз в педелю, стараясь хоть чуточку сблизить расы. Обсуждать всякие вещи, устраивать танцы, поощрять к совместной деятельности молодежь разных рас. Нужно, конечно, какое-то помещение. Знаете, что-нибудь вроде клуба.

— А деньги где взять?

— Как насчет Резиденции? Британский совет ею больше не пользуется. Там вообще ничего больше не делается. Можно объявить подписку, можно заработать на танцах и шоу. Смотритель и пара садовников обойдутся недорого. Конечно, счета за электричество...

Ник Хасан покачал головой.

— Ничего не выйдет. Ее займет султан.

— Но, черт возьми, у него уже три дворца.

— Теперь будет четыре. Это отпадает. Впрочем, есть одна вещь. Я только что подумал. Помните плантатора Уигмора?

— Да, бедный старина Уигмор. — Коммунисты-террористы застрелили Уигмора в его собственном поместье. Безобидный толстяк, проживший в стране тридцать лет.

— Утвердили его завещание. Он оставил двадцать тысяч долларов той самой тамильской девушке, с которой жил. И двадцать тысяч долларов штату.

— За что?

— Бог свидетель, он за свою жизнь из штата достаточно вытянул. Что-то вроде посмертного дара. Сказано просто: «на благо народа». Мутный был тип. Пил много, конечно. Оставил бы лучше собачьему приюту, больнице, еще чему-нибудь. А теперь создают комитет, чтоб решить, как использовать деньги.

— Кто вошел в комитет?

— Ох, мы все войдем. Целый год будем спорить, по-моему. А потом султан заберет деньги на новый автомобиль. Там, конечно, немного.

Немного, но хватит. Хватит, чтобы послать Роберта Лоо в Европу. Хватит на покупку какого-нибудь помещения. Хватит на то и другое?

— Мутно, как вы говорите, — сказал Краббе.

— Очень мутно. Султан вполне может, по-моему, объявить, будто новый автомобиль — народное благо. Люди счастливы, видя, что их султан

счастлив. Интересно, а можно ли мне то же самое сделать, получив приличный развод? Продать свою жену и жениться на новой, — soigneur [\[17\]](#), образованной, пьющей, которая сойдет в Австралии.

— Всегда есть Розмари.

— Боже, старик, слишком черная, черт побери. Как туз пик. Не выношу прикосновения к черной коже.

Роберту Лоо хотелось иметь больше практических знаний о скрипке. Муза преждевременно уговорила его взяться за написание скрипичного концерта, то есть обрушила на него темы, полностью оркестрованные, с воспарявшим и падавшим соло скрипки на фоне, требовавшим богатых гармоний, загадочных многочисленных пауз. За этими четкими образами стоял более крупный, не столь ясный образ, который будет полностью понят только по завершение работы, ибо это был образ самого произведения. Роберт Лоо сидел в отцовском заведении, аккуратно набрасывал первую и вторую тему первой части. Нотная бумага лежала рядом со счётами, и он время от времени откладывал ручку, шевеля пальцами — с грацией музыканта — над железными прутьями с деревянными костяшками, с помощью которых подводили счета.

Сперва в лавке отца продавалась провизия; потом показалось естественным расставить столы, стулья, превратить заведение в ресторан без претензий; потом лицензия первого класса привела скудную пьющую клиентуру, законно позволив сидеть за спиртным до полуночи. Для каждого члена семьи все это означало долгий день, но никто, собственно, не возражал: дети китайских тукаев с экономностью, свойственной своей расе, находили удовольствие и разнообразие, где только можно. Жизнь проходит не в каком-нибудь далеке от кофеварок и кассовых аппаратов; жизнь там, где живешь.

Роберт Лоо, вполне довольный, сидел за стойкой напротив циклоамы банок с молоком и солонины. В заведении, на реестрах поставщиков, на рекламе напитков, сиял яркий солнечный свет; тараторили два младших брата, делавшие заказы. Одиноким малаец дул в блюде с черным кофе. На улице все краски, все языки Востока. Однако Роберт Лоо смотрел на мир реальнее, воспринимал больше красок и звуков, чем содержалось в любом заведении или на улице. Контрапункт двух флейт, внезапный звонкий острый цитрусовый привкус гобоя, — слуховые образы такие живые, их волнующее сотворение так пьянит, что испепеляется внешний мир. Только услышав снаружи отрывок слабо просвистанной песни или кантонский крик младшего брата — мелодичный, на грани музыки, — Роберт Лоо хмурился. Его раздражало, что попадающие во внешнее ухо звуки так

мешают. Он еще не идеален; только оглохнув, подобно Бетховену, обретет полную власть. Но борьба и копанье в грязи на протяжении четырех-пяти последних лет доставляли удовлетворение. Небольшая библиотечка музыкальных учебников в спальне, помощь Краббе; первое озарение, когда другой англичанин, Эннис, впервые познакомил его с музыкой, напитал звуками записей, своего пианино, — можно терпимо смотреть на все это. Теперь он свободен или почти свободен. Сам себе хозяин.

Только что-то связанное со скрипичным концертом его тревожило. Постоянно навязывался визуальный образ солиста. Он видел исполнение концерта, и, хотя оркестр оставался в тени, пальцы солиста, рука солиста были жутко живыми, как во сне или в лихорадочном забытии. Пальцы сильные, длинные, рука обнаженная, сзади мерцает какая-то фотопленочная синева. Запястье выгнуто дугой, пальцы на струнах, потом сама скрипка, коричневая, полированная, воткнутый в нее подбородок солиста. Он изумленно увидел, что это женщина. Кто? Может быть, воспоминание о каком-нибудь фильме, об иллюстрации в книге про знаменитых музыкантов? Роберт, открыв рот, уставился в большое сверкавшее зеркало напротив. Висело оно чересчур высоко, чтоб он в нем отражался; виднелась там только полка со стеклянными пивными бутылками да вертевшиеся лопасти потолочного вентилятора. Но вторжение трехмерного мира изгнало видение. Он вернулся к писчей бумаге, набросал пассаж соло с тройной паузой, потом вдруг руки его коснулись длинные пальцы, указывая, что это непрактично: видишь, не получится вот так вот растянуть пальчики; видишь, надо будет ведь первым пальцем дотянуться досюда...

С улицы вошел отец, Лоо Кам Фат.

— Ну, везут, — сказал он. Отец не говорил по-английски, не носил христианского имени. Не возражал, что его старший сын говорит по-английски — это шло на пользу торговле, — не возражал против принятия христианства некоторыми своими детьми, — торговле это не вредило. Торговля, азартные игры, время от времени женщины, — мужская жизнь. Отец только что выиграл сорок долларов, поспорив, что птица на дереве напротив лавки Нга на сей раз пропоет пассаж не из трех нот, а из четырех. Значит, в нем жил рудиментарный интерес к музыке. Выигрыш в то утро служил добрым предзнаменованием для его нового предприятия. Для предприятия, которое он держал в секрете, мысль о котором возникла внезапно; оно может обрадовать его старшего сына, так как тоже связано с музыкой, а он знал о любви или об определенной привычке к музыке своего старшего сына. Лоо Кам Фат просиял, потер тукайское брюшко и

повторил: — Сейчас привезут.

В дверях возникли трое младших братьев Роберта Лоо, заинтересованно квакая. Подъехал железнодорожный фургон. Четверо мужчин в конце фургона — малайцы в шортах и рваных фуфайках — начали выдвигать ящик, гортанно выкрикивая односложные приказы, контрприказы и предупреждения.

— Что это? — спросил Роберт Лоо. Хотя знал, что это такое, и чувствовал легкую тошноту. Никогда не думаешь, не ожидаешь. Надо было догадаться, что это произойдет. Он смотрел, как ящик плюхнули за стойкой.

— Ну, посмотрим теперь, — улыбнулся отец. — Понравится.

Похоже, пол-улицы жаждало помогать. Хасим, слабоумный из парикмахерской рядом, выворачивал ломиком гвозди. Доски, ворча, уступали коричневым, желтым рукам, гнутые гвозди, с визгом выдергиваясь, возвещали фанфарами о появлении скрытого внутри сокровища. Оно несмело появлялось расширявшимся боком красного металла по мере исчезновения дерева, стружки, массы упаковочной бумаги. И вскоре встало, голое и сверкавшее в солнечном свете, сбросив грубую упаковку, — чудо и божество.

— Ах, — выдохнула толпа.

— В угол несите, — приказал Лоо Кам Фат. В угол его толкали со счастливыми стонами, вздохами, шлепая босыми ногами. Явились стервятники, быстро, скрытно шныряя глазами, хватая устилавшие пол деревянные планки. Работники отступили, благоговейно глядя на стеклянно-металлического музыкального бога, истинное имя которого расплзлось пылающим хромом на животе: «Аполлон». Сотни черных дисков за толстым стеклом, как бы сушившихся над таинственным скрытым внизу чревом, прочно стояли на ребрах.

Лоо Кам Фат раскрутил гибкую пуповину, с некоторым разочарованием заметил:

— Вилка не того размера. Надо заменить. — Откуда ни возьмись возник штепсель поменьше, отвертка. — Мужчина из Сингапура приедет, — сказал Лоо Кам Фат, — через полгода. Все пластинки поменяет. Очень хорошо.

— Ах!

Бог задышал, засверкали синие глаза. Момент настал. Лоо Кам Фат, словно священнослужитель гостию, почтительно опустил в крошечный рот десятицентовую монетку.

— Теперь надо выбрать. — И милостиво повернулся к своему

старшему сыну. — Выбирай. Выбирать должен сын номер один. Выбирать должен сын, который любит музыку. — С добрыми улыбками, понимая важность события, толпа уступила дорогу сыну номер один. Это была церемония. Это была религия. Роберт Лоо, на сердце которого как бы лег чересчур плотный завтрак, вышел приветствовать бога, дать ему команду, принести себя ему в жертву. Слепо нажал на кнопку. Поворотный механизм внутри медленно передвинул пластинки, искал, не нашел, передвинул обратно. Пластинка тихо послушалась, мягко легла на проигрыватель, закрепилась, стал опускаться звукозаписывающий. Военная организация превратилась в гарем. А потом...

Радость зажглась в азиатских голосах, когда звуки заполнили заведение и улицу. Барабаны и жаркая медь, клином врезавшиеся саксофоны бога. Этот бог даровал радость.

— Торговля оживится, — прокричал Лоо Кам Фат в своей оглушительной радости. — Парк закрыли теперь. Девушкам-мусульманкам танцевать запретили. Никакого пива не продают. Народ все время будет тут. Придет музыку слушать. Музыка — очень хорошая вещь.

Кругом в жадных выжидающих пальцах заблестели десятицентовые монеты. Что там рис, что там кофе по сравнению с утешительным искусством? Солистка-скрипачка ждала, изготовив выгнутую дугой кисть, терпеливо улыбаясь, но явно озадаченная задержкой.

Музыка донеслась до Сеида Омара, сидевшего в полицейском управлении, гадая, когда остальные уйдут на ленч. Он только что отпечатал приказ по полиции с указанием арестовывать по распоряжению высших религиозных властей каждую мусульманку, взявшуюся работать платной танцовщицей, официанткой в кафе или уличной женщиной, каждого мусульманина — мужского и женского пола, — уличенного в совершении, готовности совершить или в совершенном когда-либо адюльтере. А также докладывать о любом малайце любой расы и религии, способствующем подобным преступлениям или подстрекающем к ним любого мусульманина. Хорошо потрудившись утром, Сеид Омар чувствовал, что заслуживает кружечки пива за углом у Лоо. Но был озадачен письмом, копию которого только что переслал ему начальник полиции. Письмо из полицейского управления в Куала-Беруанге, Паханг, представляло собой блистательный панегирик Сеиду Омару, явно подписанный Маньямом. Озадачил Сеида Омара не сам панегирик, а адрес. Почему письмо Маньяма отправлено из Паханга, когда Маньям до сих пор живет, поправляется в доме доктора Сундралингама? Поразмыслив какое-то время, он потом заключил, что Маньям, наверно, боится дальнейшей мести Сеида Омара,

поэтому прикидывается находящимся за много миль отсюда. Конечно, неискренность панегирика надо считать само собой разумеющейся. Ничего хорошего для Сеида Омара отсюда не следовало, так как начальник полиции счел неискренность само собой разумеющейся и удостоверился, что Сеид Омар очень плохо обошелся с Маньямом, раз Маньям таким образом пишет про Сеида Омара. Но попытка Маньяма убедить Сеида Омара в своем уже состоявшемся возвращении в Паханг свидетельствует об опасении Маньяма, что написание подобного письма льда в его отношениях с Сеидом Омаром не разобьет (так сказать), что Сеид Омар по-прежнему питает к Маньяму ненависть и даже проявляет ее общепринятым способом. Может, та самая женщина, Ниламбигай, сейчас крутит задом ради места получше, места, ныне занимаемого Сеидом Омаром. Маньям при этом ничем не жертвует, даже не унижается, ибо хорошо известно, что ради спасения собственной шкуры или продвижения по службе тамилы продадут своих матерей, честь и душу. Им неведом смысл слова «унижение», когда речь не идет о других, к примеру, о робких, заслуживающих того малайцев вроде Сеида Омара. Сеид Омар снова прочел письмо:

«...поэтому мне хочется исправить любое ошибочное впечатление относительно моего отношения к личности и работе туана Сеида Омара, какое могло возникнуть вследствие вполне несущественного непонимания, возникшего между нами незадолго до моего отъезда. Я считаю туана Сеида Омара полезным работником, честным, преданным своему делу, который всегда старается как можно лучше трудиться, вежлив к вышестоящим, внимателен к подчиненным. Проработав несколько месяцев в вашем полицейском управлении, я высоко оценил его превосходные качества. Туан Сеид Омар далеко пойдет, потому что в таких, как он, нуждается страна...»

Все равно, думал Сеид Омар, все равно пригодится. Хорошая характеристика, пускай даже фальшивая. Но тогда все хорошие характеристики фальшивые. Само собой разумеется. Только теперь Сеид Омар чувствовал нараставшую злобу при мысли о вынужденной необходимости полагаться на нарочито фальшивые похвалы трусливого тамила. Ему хотелось убить Маньяма. Он весьма тщательно сложил письмо и положил в бумажник. Хорошая характеристика. Он достанет Маньяма.

Розмари Майкл услышала громкую музыку из заведения Лоо, проходя мимо почты Джалана. Мужчины на нее глазели, присвистывали вслед, делали недвусмысленные жесты. Из индусских лавок сверкали откровенно сладострастные зубы. Толстый констебль-сикх попытался ущипнуть ее сзади. Всегда так: мужское население города отдавало дань красоте

Розмари. Она ее снисходительно принимала. Музыка из магазина Лоо ослепляла, как само солнце, которое она далеко превосходила сияньем, блиставшее золотом только для нее.

О, для сияния у нее были причины. Пришло, наконец-то пришло. Ну, в определенном смысле пришло. От Джо пришел чек на двадцать гиней. Гиней как-то смахивали на расплату, но, может быть, Джо на самом деле побеспокоился, постарался выслать хорошую круглую сумму — ровно сто восемьдесят долларов. Джо хотел, чтоб у нее были деньги на покупку обручального кольца. Сам, сказал он, не смог прислать, потому что размера не знал. И в камнях она лучше него разбирается, и какую выбрать оправу.

Фактически денег, конечно, не хватит даже на совсем скромное хорошее кольцо. Впрочем, может быть, Джо не скупой; может быть, бедный мальчик на самом деле не знает цену по-настоящему хорошему кольцу. Может быть, просто экономит деньги на их маленький домик. Все равно, это значит, Розмари придется забрать небольшой запас в банке (забежит по дороге домой и посмотрит какой). Надо купить что-то вправду хорошее, равноценное тем подаркам, которыми она осыпала Джо: проигрыватель, клюшки для гольфа, «лейка», радио для автомобиля. Чтобы Джо не выглядел менее щедрым по сравнению с ней.

В письме Джо сказал, что вполне может вернуться в Малайю. Вместе со своей импортной, экспортной или какой-то там фирмой. Потом, сказал он, она переведется в школу в том городе, где он будет работать, так как это определенно будет другой город. Розмари не очень обрадовалась. Она себя представляла жительницей прелестного домика в Хэмпстеде или Чизвике, загадочной прекрасной восточной принцессой, вышедшей за простого смертного, которая снисходит до приготовления особых блюд — экзотических, пряных — для гостей, но все остальное хозяйство препоручает солидным британским слугам, которыми повелевает. Ну, если нет, то хотя бы в Малайе под титулом мем зевает целыми днями над книжками из клубной библиотеки под двумя вентиляторами в гостиной. Она не собиралась работать после замужества. Но, сказал Джо, с самой свадьбой придется обождать, потому что та самая фирма не хочет, чтоб ее работники женились на цветных женщинах. Он только временно поработает в той самой фирме, потом, может, получит хорошую государственную должность. После первой неразберихи в связи с Независимостью начнут с плачем звать экспатриантов вроде Джо.

Надо же, цветная женщина! Цветная! Розмари прошла, высоко вскинув голову, презрительно виляя бедрами, мимо дома Краббе, за угол, вниз к своему собственному кварталу. Увидела стоявший через дорогу

автомобиль, жарившийся на солнце. Машина Джалиля. Цветная женщина! Она европейка, в Париже и в Лондоне чувствует себя как дома, обожает европейскую одежду и европейскую еду с большим количеством соуса «Ли энд Перрин». Любит снег, чай с пышками рядом с уютным камином, туман, первоцвет. Кроме того, она, конечно, яванская принцесса, или балийская, или гавайская. Но не цветная женщина. Разве Англия не восхищалась ее роскошным загаром? Разве европейцы не стараются загореть? Что он имел в виду, называя ее цветной женщиной?

Она плыла, перебирая исключительными ногами, по узенькой подъездной дорожке к своему дому. В доме сидел Джалиль, прекративший хрипеть, чтоб при виде нее просвистеть грудью хроматический ряд. Он, конечно, не встал. Комната полна кошек, цветов — бугенвиллея, лилии, гибискус, орхидеи — и музыки пчел.

— Я вам велела сюда не ходить, Джалиль, — сказала Розмари. — Я вам опять и опять говорила. Что подумают люди, вы все время ходите, что подумают? — Впрочем, это был простой ритуал, исполненный неубедительно.

— Пойдем поедим, пойдем выпьем, пойдем повеселимся, — сказал Джалиль. Уже ставший традиционным литургический ответ.

Две кошки подошли поприветствовать Розмари.

— Ох, не говорите глупостей, вы же знаете, я не могу, о, какой вы смешной. О, — сказала она, — что за дивные орхидеи.

— Орхидеи не я принес. Орхидеи Краббе прислал.

— Краббе? Виктор Краббе? — Розмари схватила визитную карточку, прочитала: — «Изысканной даме не столь изысканные цветы». — Ооооох, — проворковала она, — о, как мило. Ох, прелесть. — И прочла подпись: Лим Чень По.

— Краббе прислал. От китайца из Пинанга. — Джалиль фыркнул и захрипел.

Розмари села в другое кресло.

— Я обручена, Джалиль, — сказала она. Всегда иначе себе представляла, как объявит об этом, подпрыгивая, громкой песнью, огорошив Джалиля. Потом, конечно, вспомнила про Блэкпулскую башню. В прошлый раз именно Джалиль все испортил.

— Он кольцо не прислал. Знаю, не прислал кольцо. Я каждый день слежу.

— Он деньги прислал на кольцо.

— Сколько?

— Ооооох, двести фунтов.

— Не верю.

— Хорошо, — сказала Розмари, — если не верите, можете вместе со мной пойти покупать. Можете отвезти меня в Пинанг. Вот. — И триумфально надула губы.

— Поедем в Пинанг веселиться.

— Я обручена, Джалиль, понимаете, обручена. А вы говорили, он этого никогда не сделает.

— Никогда не женится. Мне говорил, не женится.

— Ну, вот тут я могу доказать, что вы лжец. Мы обручились, чтобы пожениться, и, значит, поженемся. Вот так вот.

— Он не женится.

— О, какие прелестные орхидеи, — повторила Розмари. И нахмурилась, слыша голос Лим Чень По, такой английский, рафинированный, высшего английского класса. А ей частенько приходилось делать Джо замечания насчет простонародного выговора. Ну, может, не часто, а пару раз. Что это с ней такое? Она рассеянно гладила кота с физиономией Дизраэли. (Он сидел на столе, нюхая орхидеи.) — Интересно, зачем, — сказала Розмари. — Интересно, зачем он их прислал. Всего раз меня видел, — усмехнулась она.

— Ночевать хочет. Дешевле, чем в отеле, когда из Пинанга приедет.

— Джалиль, какие гадости, гадости вы говорите. Я вас ненавижу. Уходите, убирайтесь, уходите. — Но Джалиль фыркнул и согнал с колен кошку.

— Он не женится, — сказал он. — У него жена в Пинанге. Один я женюсь.

— Я за вас никогда не пойду, никогда, никогда. Скорей выйду за Вая. Вы просто ужасный. — Джалиль, слыша подобный отзыв, заерзал от удовольствия.

— За европейца хотите, — сказал он. — Я и есть европейец. У меня всего три жены. Можно еще одну. Если вы за меня не пойдете, легко найду другую. Много малайских женщин мужа хотят. Мне все равно.

— Ох, Джалиль, вам никогда не понять. Никогда. Что я буду делать на Рождество? Не хочу Хари-Райя. Не хочу Дипавали. Не хочу ни мусульманских, ни индийских праздников. Мне нужно Рождество. Мне нужна индейка, рождественский пудинг, пирожки с мясом, омела, снег, колядки. Мне нужна елка. Мне нужны подарки!

На последнем слове она не выдержала, и лицо ее стало нечеловеческим. Надо же, плакать в тот день, который должен был стать вторым счастливейшим в ее жизни. Розмари обливалась слезами, забыв, что

пришло время ленча. Джалиль тихо фыркал.

Вайтилингам спокойно и эффективно работал долгим жарким днем. Сделал шести собакам прививки от бешенства, диагностировал у кошки энтерит, осмотрел овец на экспериментальной овечьей ферме, подтвердил, что ручная обезьянка страдает пневмонией, съездил в фургоне ветеринарного департамента в кампунг лечить вола от нового неизвестного, бешено распространявшегося рака кожи, вернулся в хирургию, где написал письмо Розмари Майкл.

Дефект речи не позволял ему сделать достойное устное предложение. На бумаге можно выражаться свободно, даже красноречиво; высокопарные фразы письма доставляли ему удовольствие. «...Если вы согласитесь стать моей женой, обещаю честно выполнять все супружеские обязанности. Хотя я не богат, имею адекватный доход и обязуюсь приложить усилия к обеспечению привычного для вас образа жизни». Прозу его мертвой хваткой держал стиль индийской бюрократии XVIII века, ни в коем случае не смягченный чтением в переводе Маркса и Чжоу Эньлая. «Остаюсь вашим искренним обожателем. А. Вайтилингам». Он запечатал письмо, чтоб потом отнести ей домой, стоять и моргать, пока она будет читать.

Необходимо скорее жениться. Утром пришло письмо с Цейлона от матери с очередной фотографией подходящей девушки из тамиллов Джафны. Вайтилингам с ненавистью усмехнулся. Как хорошо ему понятны смертельные муки того самого буржуазного персонажа того самого буржуазного драматурга, гордости той самой презренной страны. «О, женщины, вам имя — вероломство». Он довольно недавно видел тамильскую киноверсию «Гамлета», слишком длинную, почти на два часа, но довольно живую и свежую в своем роде, невзирая на восемь песен Офелии и на танцы могильщиков. Сцена в спальне с криком, с бурными крепкими тамильскими поношениями, испуганная черная королева в постели, — вот это искусство, вот это слова. Но оставался вопрос об условном рефлексе. Если мать приедет в Малайю на праздники, как пару раз грозила, если привезет с собой какую-то девушку вроде такого зубастого черного пудинга на фотографии, нелегко будет держаться позиции непримиримости. Ему слишком хорошо известно, что будет. Он и глазом моргнуть не успеет, как его усадят позировать для свадебного снимка, в лучшем костюме, со свадебной гирляндой на шее, связанного на всю жизнь с избранницей матери. Мать решительно не должна победить. Свобода воли, конечно, иллюзия, по каждому надо хотя бы прикинуться, будто он ее проявляет.

Когда пришло время идти, Вайтилингам сложил в черный саквояж

лекарства для кошек. Призадумался, не пора ли подарить Розмари какое-то другое животное. Овцу? Слишком крупная. Обезьяну? Все кругом перебьет. Говорящего попугая? Заразит пситтакозом, попугайной болезнью. Какаду? Он подошел к своей машине и обнаружил, что в ней уже сидят двое мужчин. Арумугам и Сундралингам. Они жизнерадостно его приветствовали.

— Эй, привет! Долго ты!

— Привет! — провизжал Арумугам, как ведьма.

— Мы гостей собираем, — сказал Сундралингам. — У меня дома. Маньяму гораздо лучше.

— Я должен... — начал Вайтилингам. — Мне надо...

— Моя машина в гараже, — пояснил Сундралингам, — в починке. Отвези нас домой.

— Но я сначала должен... — Вайтилингам нервно дернул подбородком на свой черный саквояж. — Должен...

— Нет, — твердо сказал Сундралингам. — Знаем мы эти игры, ха-ха. С нами поедешь. Мы о тебе позаботимся.

— Мы за тобой присмотрим, — пропел Арумугам канон на две октавы выше. А потом, как бы в шекспировском настроении, подобно самому Вайтилингаму, спел: — Там, где пчелка пьет, там и я...

— Но... — попытался Вайтилингам.

— Садись, — сказал Сундралингам, твердо, но дружелюбно.

Музыкальный бог громко пел заведением и улице. Дети с благоговейным страхом глядели в его гипнотический глаз, и множество любителей пива, — гораздо больше, чем когда-либо раньше, — сидели, зачарованные, укутанные теплым пальто тропической ночи и великой грохочущей музыкой. Старик Лоо стоял у холодильника с довольным видом.

— Посмотрите-ка на него, — сказал Идрис, деликатно потя в костюме. — В ушах вата.

— На кого? — спросил Азман, в тот день в тропической одежде.

— На него. На вундеркинда.

Все четверо загоготали. Роберт Лоо в самом деле сидел, как бы стараясь соткать вокруг себя тишину; два ватных тампона глушили неэффективно; шум, из льва съжившись в муравьев при столкновении с мягкой преградой, все-таки проникал — не прыжками с выпущенными когтями, а ползучей украдкой. Сводившее с ума виденье скрипачки, почему-то переодевшейся из синего в зеленое, сводило с ума пуще прежнего: она вечно тут будет стоять со смычком наготове, лаская щекой

полированную деревянную деку, ждать, улыбаться, ждать. Роберт Лоо открыл ватные двери, и влился бушующий золотой океан. Не стоит сопротивляться.

— Вон папаша твой, — сказал Азман Хасану. Вошел Сеид Омар, веселый, в газетной рубашке, черных штанах, сандалиях. И приветствовал сына такими словами:

— Вот где ты попусту время тратишь.

Сеид Хасан ухмыльнулся, смущенный громким голосом и одеждой отца, и пробормотал:

— Чего тут плохого.

Сеид Омар громко заказал бренди и имбирный эль.

— Нельзя, — отказал Лоо Кам Фат. — Ты малаец. Полиция сказала, нельзя.

— Я сам полиция, — объявил Сеид Омар. — Меня можешь обслужить. Должен обслужить. Я и есть полиция.

Сеид Омар сел с четырьмя мальчишками, попивая бренди с имбирным элем.

— Это что за наряд? — усмехнулся он на костюм Идриса. — Кем ты себя воображаешь?

— Никем, — сказал Идрис.

— Вот именно, никем. Все вы просто ничтожества. Хотите походить на гангстеров. И ты тоже, — обратился он к сыну. — Я тебя в городе видел в таком же наряде. Что творится с нынешней малайской молодежью? — сказал он. — Где старые добрые мусульманские принципы, которым старшие вас стараются научить?

— Мы хоть бренди не пьем, — храбро вставил Азман.

— Даже если попробуешь, не получится, — презрительно оборвал его Сеид Омар. — Все назад выльешь. — И скорчил гримасу, точно его тошнило, продемонстрировав белый язык. — Вы не мужчины, в отличие от ваших отцов, и никогда такими не будете. Одна кока-кола да джаз. Где принципы, за которые боролись ваши отцы?

Никто не пожелал спрашивать, где боролись и с кем. Мальчики молчали.

— Что будет с исламом, — продолжал Сеид Омар, — когда вам, молокососам, придется его защищать? Скажите-ка мне. — Никто не смог ответить. Музыка вдруг взорвалась, как кипящий котел, и Сеид Омар подпрыгнул на стуле. — Во имя бога, — крикнул он по-английски, — выключите этот шум. — Никто не шевельнулся. Неожиданно начался тихий пассаж. — Так-то лучше, — сказал он, будто сам бог поспешил ему

повиноваться. — Слабаки, — резюмировал он, обращаясь к мальчишкам. — Все это кино американское. Жизнь расслабленная, мысли расслабленные. Посмотри на свой мускул, — сказал он сыну. — Рукава закатал, будто есть что показывать. — Ощупал тугой комок на плече Хасана и заключил: — Слабый мальчик. Совсем слабый.

Мальчики с добродушным презрением смотрели на него, на круглое брюшко, на общую дряблость.

— Могу выйти с вами на ринг, — предложил Хамза. — Пять раундов выдержу. Наверняка нокаутирую.

— Правильно, — рассмеялся Сеид Омар. — Навались на меня. Кругом враги ислама, враги малайцев, а ты меня хочешь нокаутировать. Меня, ровесника твоего отца, представителя твоей собственной расы. Сидите тут, пьете жуткое сладкое пойло, когда кругом враги. — Драматически прищуренными глазами он оглядел безобидных любителей сладких напитков. — И вам всем четверем может прийти в голову мысль ударить несчастного старика, чьи дни почти сочтены, посвятившего лучшие годы жизни обеспечению безопасности вот таких вот молокососов. — И заказал еще бренди, добавив: — Запиши на мой счет.

Только что кончился первый сеанс рядом в кинотеатре. Вошел Краббе с Розмари. Чтобы загладить грубость вчерашнего вечера, полный отказ от добровольно предложенных чувственных сокровищ, ему пришлось повести ее посмотреть впервые за многие месяцы показанный в городе фильм на английском языке. Плохой фильм глубоко тронул Розмари, героиня-блондинка внушила новые фантазии. Усевшись теперь за столик, она говорила сквозь музыку:

— Точно как она, Виктор, все светловолосые, голубоглазые, мой отец, мать, брат, сестра, все, и только потому, что я родилась вот такой смуглой, не захотели иметь со мной ничего общего. Вышвырнули меня, Виктор, на улицу, только потому, что моя кожа другого цвета. Да, Виктор. И поэтому я ненавижу их, и поэтому расу свою ненавижу, и поэтому мне хотелось бы глотки им перерезать, посмотреть, как они лежат в море крови у меня под ногами. — Краббе восторженно глядел на нее. В тот момент она была блондинкой-кинозвездой. Поддельная страсть не морщила лицо, просто увеличила черные глаза, расширила средиземноморские ноздри, объявляя ее в соответствии с ложным представлением о темпераменте, который можно сдерживать, поистине желанной.

— И с Джо то же самое хочешь сделать? — спросил Краббе. — Чтоб лежал в море крови у тебя под ногами?

Розмари взглянула на него как на сумасшедшего.

— Но в том-то все дело, Виктор, — сказала она. — Джо не шотландец. Джо англичанин. Я думала, вы знаете.

На это Краббе ничего не сказал. Он приветственно махнул старику Лоо, заказал джин, подозвал жестом к своему столику Роберта Лоо. Роберт Лоо замешкался, отец быстро настойчиво что-то сказал ему по-китайски, подтолкнул в сторону Краббе.

— В чем дело? — спросил Краббе, когда юноша робко остановился рядом. — Ну-ка, сядь. Хочу с тобой поговорить.

— Правда, вполне симпатичный, — протянула Розмари, точно Роберт Лоо был одним из «аборигенов», а она только что прибыла со Слоун-сквер. — Немножко похож на того милого мужчину из Пинанга.

— Я должен с вами встретиться, — сказал Роберт Лоо. — Должен с вами поговорить. Очень тяжело.

— Ну, сядь. Сейчас и поговорим.

— И вполне хорошо говорит по-английски, — заметила Розмари, — для китайца.

— Я так не могу, — сказал Роберт Лоо. — Работать не могу. День за днем этот шум. И уйти не могу.

— Сядь, — велел Краббе. — И все Расскажи мне. Спокойно.

Роберт Лоо присел на краешек стула, сцепив руки, словно в гостиной викария.

— За два дня написал только пять тактов. Все время шум. Пробовал писать у себя в спальне после полуночи, но отец свет выключает.

— Что ты пишешь?

— Скрипичный концерт.

— А.

— Ты умеешь на скрипке играть? — глухо полюбопытствовала Розмари, жуя изысканными губами.

— Нет, не умею. Я хочу сказать, знаю, как...

— Я училась на скрипке, — сказала Розмари. — В школе играла, в университете. И по телевидению, — добавила она. — О, всякие вещи. Симфонии Баха, и фуги, и, о, всякие вещи. «Аве Мария», — добавила она набожным восклицанием. — А еще «На персидском базаре».

— Я снова должен поговорить с твоим отцом, — сказал Краббе. — Он, по-моему, не виноват. Ему надо торговлю вести и так далее.

— Он не станет вас слушать, — возразил Роберт Лоо. — Сказал...

— Что сказал?

— Сказал, люди судачат.

— Видите, Виктор, — быстро вставила Розмари. — Я ведь вам

говорила, что люди судачат, правда? А вы слушать не стали.

— Не знаю, что он хотел сказать, — продолжал Роберт Лоо. — Но говорит, вы ничего хорошего не сделаете. Пожалуйста, прошу вас, — в панике добавил он, — ему это не говорите. Он говорит, вы хороший клиент, вас никак нельзя обижать. Но я все равно не знаю, что он хотел сказать.

— Я тебе объясню, что он хотел сказать, — охотно и с удовольствием начала Розмари. — Он хотел сказать...

— Розмари, успокойся, — оборвал ее Краббе. — Не важно, что он хотел сказать. Дело не в этом. Дело в том, что ты должен писать музыку. У тебя нет выходных вечеров? Всегда можешь ко мне приходить и у меня работать.

— Он не пустит меня, — сказал Роберт Лоо. — Говорит, тут дел много. По-моему, он мне больше не даст выходных.

— Я с ним поговорю, — не без мрачности объявил Краббе.

— Нет, нет. Он сейчас видит, что мы про него говорим. Мне надо идти. — И поднялся со стула.

— Сядь, — приказал Краббе. — Итак, — зловеще заключил он, — наконец вторгся реальный мир.

— Как вторгся?

— Ты начинаешь сознавать, что существуют другие люди. Понимаешь, художник не может работать в безвоздушном пространстве. На твоём месте, — сказал Краббе, — я бы приступил к действиям. Что-нибудь совершил бы. Даже ушел бы из дома, нашел какую-нибудь работу, например место клерка. Заявил бы о себе.

— Я не могу. — Полное потрясение при столкновении могучего китайского консерватизма с ересью, даже с богохульством. — Не могу. Он мой отец.

— Мой отец вышвырнул меня на улицу, — сказала Розмари, — чтоб я сама добывала себе пропитание. Одна на лондонских улицах в десять лет. Потом меня удочерил индийский принц, — добавила она. — Я не боялась уйти из дома.

— Может быть, это единственный путь, — сказал Краббе. — Пусть твой отец увидит. Есть верный шанс, что твою симфонию исполнят на торжествах по случаю Независимости. Если он услышит запись, а лучше реально увидит, как ее играют в большом зале, публика, аплодисменты... Ему придется серьезно отнестись к твоей музыке. Надо ему показать.

— Можешь ко мне домой приходить и работать, — щедро предложила Розмари. — В любой вечер.

— Я не могу выходить, — объяснил Роберт Лоо. — Я уже говорил.

Снова у него спрашивал, может, мне стать бухгалтером, а он сказал, я ему здесь сейчас нужен. Столько других заведений закрыли, вся торговля будет тут у нас.

— Думаю, — терпеливо сказал Краббе, — твою симфонию исполнят. Надо только написать короткий финал для хора, патриотический малайский финал. Надо, чтоб она стала более популярной, привлекательной. Политически привлекательной. Можешь ты это сделать? Как-нибудь?

Роберт Лоо усмехнулся.

— Я не буду ее переписывать. Она и так хороша. Так я хотел написать. Никто не имеет права просить меня переделывать. Даже если б я смог, то не стал бы.

— Ох, Роберт, Роберт. — Краббе глубоко вздохнул, прямо, подумала Розмари, как Джалиль. — Ты никогда ничему не научишься. Вторгается реальный мир, а ты этого не видишь. Что мне с тобой делать?

Роберт Лоо восхищенно смотрел на правую руку Розмари, с кинозвездной элегантностью державшую длинный мундштук с длинной сигаретой.

— Дайте мне прикурить, дорогой, — попросила она Краббе.

Роберт Лоо сообразил, что впервые смотрит на женскую руку. Это была рука хорошей формы — красота любой отдельной части тела Розмари оставалась божественным чудом, только целое, лишенное оживляющей души, не впечатляло. Розмари преподавала ценный эстетический урок, демонстрируя родство величия и абсурда. Глаза Роберта Лоо проследовали, словно рассматривали составную картину, вверх от длинных прелестных пальцев к искусному запястью, гладкому округлому коричневому предплечью, к голому плечу. Это было вторжение реального мира.

— Мне надо вернуться, — пробормотал он.

Краббе устало покорно кивнул.

Когда Краббе с Розмари уходили, четверо малайских мальчишек, отделавшись, наконец, от отца Сеида Хасана, тихонечко посвистели, глядя на бедра Розмари. Потом немножечко посидели в унынии.

В каком-то смысле все сказанное Сеидом Омаром правда. Они ничем не оправдывали на деле свой пресловутый рыцарский наряд, волосяной шлем, единственный костюм — пропотевшие латы, бравые клятвы, выкидные ножи. Они знали: им явился призрак отца Гамлета. О, какие они мошенники, крестьянские рабы. Надо приступить к действиям. Что-нибудь совершить.

— Если папа потеряет работу, — сказал Хасан, — это будет он виноват. Грязный тамил.

— Надо нам его побить, — предложил Азман.
— Нож сунуть, — подхватил Хамза.
— Велосипедной цепью отдубасить.
— Бутылкой дать в морду.
— Зубы вышибить.
— Двинуть в бодек.
— Эй, — сердито крикнул Хасан Роберту Лоо, — мы хотим расплатиться.
— Восемьдесят центов.
— Слишком много. Пятьдесят.
— Восемьдесят центов.
— Пятьдесят, или мы расколотим твой музыкальный ящик.
Роберт Лоо с улыбкой и силой сказал:
— Хорошо бы.

Неправильный ответ. Все обстоятельства против них оборачиваются. Они угрюмо заплатили, сколько было сказано, угрюмо ушли, Хамза пнул стеклянную витрину, полную буханок хлеба и китайских пирожных.

Приступить к действиям. Ночью, в два тридцать пять, Роберт Лоо, босой, туго завязав на поясе ночной саронг, прокрался мимо храпевшего отца, мимо братьев, сестер, тяжело дышавших в крепком сне, и тихонько спустился вниз. Электрический фонарик выхватывал нити дождя на стене, шмыгавших тараканов, больших, словно мыши; забытые пустые ящики из-под минеральной воды. Войдя в зал, увидел на столах лунный свет, спящего в углу музыкального бога. Он-то ему и нужен. Роберт не шел на убийство, не вооружился смертельным оружием, просто шел покалечить его. Положил фонарик, взял в лунном свете пустую коробку из-под игральных карт, зубами и пальцами придавал ей нужную клинообразную форму. Сунул клип в машинную щель для монет, плотно забил, преградив доступ покупающим шум монеткам в десять центов. Надеялся выиграть день тишины, хватит времени написать первую часть концерта. Сейчас он его слышал, скрипку, парившую над глухими духовыми и арфами, видел улыбавшуюся солистку в зеленом. Потом с ошеломлением увидел Розмари и не услышал музыки. Так не пойдет. Дыхание участилось. Снова видя длинную элегантную коричневую руку, он застонал, вспомнив странное слово Краббе «вторгся». Почему его не оставят в покое? Он хочет только одного — сочинять музыку.

Глава 4

Розмари вернулась после выходных в Пинанге, странно выглядя чрезмерно одетой. Такой эффект производило обручальное кольцо с крошечным камешком, Грандиозно плясавшим, сверкавшим в ярком малайском свете, сигнализируя солнечными вспышками массу противоречивой информации: «Я вам нравлюсь, правда, только теперь нельзя, видите, я принадлежу другому; как я прекрасна, правда, кто-нибудь обязательно должен был меня поймать; давайте, берите меня, смелей через огненную преграду; идет аукцион, это только первое предложение; в сущности, я, как видите, приличная девушка». Кольцо казалось вездесущим: сияние его спектра наполняло, как аромат, любое помещение, песня его звучала в городе столь же громко, как ныне починенный музыкальный автомат Лоо. Но на Розмари почему-то выглядело непристойно, как выглядел бы на ней монашеский чепец.

Кольцо навело Краббе на мысль о вечеринке, о вечеринке не просто для Розмари, но и в качестве первого шага к осуществлению своего плана межрасового общения. Кольцо, сулившее супружество, казалось подходящим символом.

— Можешь помочь, будешь хозяйкой.

— Ооооох, Виктор, как прекрасно, какая хорошая мысль, Виктор, ооооох.

— Позовем, разумеется, Ники, нескольких китайцев-ротарианцев, тамилов.

— Ой, нет, Виктор, нет, не выношу прикосновения к темной коже.

— Вечеринка будет не такая.

— А как насчет симпатичных английских мальчиков из Бустеда, и управляющего из поместья Дарьян, и Джерри Фрамвелла из «Сунгай Путе», и...

— Нет. Вечеринка будет не такая. В каком-то смысле будет довольно серьезная вечеринка.

— Как же можно устроить серьезную вечеринку? ~~ удивилась она, сверкая кольцом.

— Увидишь, что я имею в виду.

— Ооооох, Виктор, мне в Пинанге мужчины просто не давали покоя, я почти не осмеливалась выйти из спальни, а один с виду очень достойный мужчина, знаете, с седеющими волосами, с целой кучей денег, хотел на мне

жениться, а я говорю ему, уже слишком поздно, потом Джалиль приревновал, попытался в три часа утра войти ко мне в комнату. Ох, Виктор, это было ужасно, ужасно...

— Лим Чень По тебе там не встречался?

Она надула губы.

— Встречался. Был один раз в баре вечером. Ох, я его ненавижу, Виктор, ненавижу. Такой вежливый, сдержанный, ох, Виктор, какой у него дивный голос, а он просто угостил меня выпивкой и ушел.

— Ну, ведь на самом деле ты азиатов не любишь, правда? — сказал Краббе. — Не выносишь прикосновения к...

— Ох, не знаю, не знаю, Виктор. Он ведь не настоящий азиат, правда? Такой дивный голос. Ох, Виктор, Виктор, почему жизнь такая трудная?

— Больше уже не трудная, Розмари. Ты обручена.

— Да, обручена. С Джо.

— Ты обручилась с Джо.

Это имя на миг зависло в воздухе, как привычный легкий запах. Вроде бы выходило, что после решительного сакраментального обручения Джо — инструмент — вполне можно отбросить. Розмари с Краббе обсуждали приготовления к вечеринке.

— Чень По будет здесь в среду. Тогда можно и вечеринку устроить.

— О да, Виктор, какая хорошая мысль, правда, в самом деле хорошая мысль.

— А я думал, ты его ненавидишь.

— Ооооох, Виктор, я никогда этого не говорила. Никогда не говорила ничего подобного. Как вы могли подумать, будто я скажу подобную вещь?

Все было продумано довольно тщательно. Множество канапе ^[18] — никакой говядины, чтоб не смутить индуса, никакой свинины, чтобы не разъярить мусульманина, — разнообразная выпивка, включая безобидные жуткого цвета напитки, лежавшие звонким рифом в ведерке со льдом. Розмари с коричневой кожей, в огненном платье, со сверкавшим кольцом, энергично стучала высокими каблуками по большой гостинной Краббе на заходе солнца, расставляла орешки, сухарики, поправляла поникшие цветы. В конце концов, это, с одной стороны, ее вечеринка.

К изумлению Краббе, Ник Хасан прибыл в сопровождении своей жены, чи Асмы. Это была крупная женщина в саронге из шотландки и зеленом кардигане, которая, по малайскому обычаю, сбросила в дверях сандалии и протопала на больших загрубевших ступнях к простому стулу в углу. Вытащила из сумочки сирех, принялась смачно жевать, игнорируя хозяина, презирая хозяйку с голыми плечами, женщину легкого поведения,

ожидая прибытия еще каких-нибудь малайских жен. Но никаких малайских жен не приглашали. У чи Асмы было безобразное пронизательное лицо, явно лучше всего смотревшееся в движении. Она кратко отвергла апельсиновый сок, лаймовый сок, лимонад и заказала у Розмари кофе. Значит, пришлось варить кофе.

— Я не меньше вас удивлен, Вики, — признался Ник Хасан, красивый в сером тропическом костюме, с красивыми карими мрачными глазами. — Но она настояла, что тоже пойдет, говорит, я ее никогда никуда не вожу. Молю Бога, чтоб вела себя прилично.

— Нечего беспокоиться. Выпейте, Ники.

— Думаю, — сказал Ник Хасан, — лучше мне притвориться, будто имбирный эль пью. Старик, она за мной смотрит, как чертов ястреб. Эй, — подозвал он боя Краббе, проворного китайца, любившего вечеринки, быстро поговорил с ним по-малайски. — Порядок, — объявил он. — Знает, что имбирный эль — кодовое название бренди с имбирным элем. Имбирный эль, пожалуйста, — громко заказал он.

Явилась миссис Перейра, несколько неаппетитная евразийская дама пятидесяти лет, возглавлявшая местную женскую школу. Муж от нее сбежал, но по-прежнему присылал ей достаточно денег для выплаты ренты. Она кошачьими лапками ощупывала кольцо Розмари, захлебываясь словами:

— Никто даже не думал, что он это сделает, милая Розмари, а он сделал, да? Я только не пойму почему. Мужчины, мужчины, разве можно кому-нибудь из вас верить, можно?

— Я своему Джо верю.

— Я верила Перейре. Ничего, милая, жизнь такова, какова она есть. Человеческую натуру не переделаешь.

Прибыл Лим Чень По, городской, элегантный, воплощение куртуазности, с серебряным браслетом для Розмари.

— Ооооох, как мило, не правда ли, Виктор, ооооо, прелесть, ох, не могу дождаться, когда надену.

— И вполтину не столь изыскан для столь изысканной дамы, — сказал Чень По. — Виктор, вас можно поздравить?

— Поздравить?

— И позвольте сказать, как я рад столь изысканному выбору Виктора, как счастлив видеть его снова остепенившимся, надеюсь, дорогая, дорогая моя леди, что вы сделаете друг друга очень-очень счастливыми.

— Ой, Виктор, — прищурилась Розмари, сплошная алая номада, — вы его слышите?

У Краббе голова шла кругом от сотворения нового мира, где сначала шел акт обручения, а потом выбор невесты.

— Нет, — сказал он, — не то. Понимаете, это не я, это, надо сказать, Розмари обручается с... — Может, подумал он, он когда-то сделал Розмари предложение, о чем все помнили, кроме него, а Джо — просто кодовое наименование, вроде имбирного эля? Нет, нет. И опомнился, спросив Чень По: — Что вы будете пить?

— Ах, пожалуйста, розовый джин, Виктор.

Розовый джин, скотч с содовой, бренди с водой. Гости прибывали, гостиная наполнялась, в воздухе разговоры и дым. Но Краббе чувствовал, что дело начинается плохо. Чи Асма яростно выплюнула кусок тоста с постным мясом, крикнув:

— Баби!

— Это не свинина, — заверил Краббе. — Мы очень внимательно проследили. — Она, не поверив, поежилась. В любом случае, не желала говорить с мужчиной, ожидая прибытия малайских жен. Но единственной другой присутствующей женой была миссис Фу, жена мистера Фу, дантиста, улыбчивая, тоненькая, очаровательная, в чонгсаме, под которым вырисовывался корсет, но не менее прелестная, чем Розмари. Чи Асма выразила в пустоту негодование по поводу подобного эксгибиционизма.

А вот и братья тамилы. У Аруму гама и Сундралингама хлопот хватало: Маньям один дома вечером; тенденция Вайтилингама к непослушанию; тут еще эта самая Розмари. Но они не сумели придумать убедительного предлога, чтоб не прийти, тем более что Вайтилингам проявил намерение напиться у Краббе. Арумугам и Сундралингам знали причину: очередное письмо с Цейлона в то утро, очередной снимок сияющей тамильской девушки с крупно написанной карандашом суммой приданого на обороте: 75 тысяч долларов; сложная душевная машинерия Вайтилингама скрипела и скрежетала: в один момент в начале вечера он даже был склонен к сварливости. А сейчас прыскал полным ртом воздуха на Розмари.

— Ох, Вай, не глупите. Это безнадежно, разве вы не видите? Смотрите, кольцо. — Крошечный бриллиант сверкнул, просигналил.

— Я... я... не думаю...

— Мы остаемся друзьями, да? Я имею в виду, вы будете по-прежнему заботиться о кошках.

— Я...

— Пошли, — пропел Арумугам сердечным фальцетом, — пошли к ребятам.

— Я... не...

— И, — сказал Ник Хасан Краббе, — мысль считают хорошей. Говорят, именно это и нужно к началу торжеств. Хорошая вдохновляющая малайская песня про наши славные горы, про джунгли, про тигров и всякую прочую белиберду. Не слишком длинная, конечно. Думают, можно раздобыть оркестр с Сингапура. И конечно, всегда есть оркестр федеральной полиции.

— Только это будет конец вполне длинной симфонии, — предупредил Краббе. — Фактически главное — сама симфония.

— А нельзя ее вообще выбросить? Нельзя одну песню? — спросил Ник Хасан. Поймал боя Краббе, от которого уже несло бренди, протянул свой стакан. — Я просил имбирный эль. А это имбирный эль.

— Нет, — сказал Краббе, — нет. Должны все сыграть.

— Никто ничего не должен. — Может, просто в присутствии жены он стал раздражительным. — В конце концов, Вики, я вам оказываю услугу.

— Мне?

— Ну, ему. Услугу тому самому парню.

— Но, проклятье, старик, я думал, мы договорились. Неужели вы в самом деле не видите, что исполнение этой вещи важно для Малайи?

На них накатывалась грудь, парфюм и кольцо Розмари.

— Виктор, Виктор, по-моему, Вай старается напиться. Посмотрите на него. — Вайтилингам был загнан в угол возле стола со спиртным, Арумугам и Сундралингам плотной стеной отгораживали его от искушения. Вайтилингам выпил две порции чистого виски, налил очередную. Сундралингам громко, педантично рассказывал миссис Фу о местной кампании по борьбе с фрамбезией.

— Из нарывов при фрамбезии сочится самая что ни на есть тошнотворная жидкость, которая изобилует болезнетворными организмами.

Миссис Фу обаятельно улыбнулась и куснула сардинку на палочке.

— До двадцати лет от первичной язвы до третьей стадии.

Краббе прокашлялся и провозгласил:

— Леди и джентльмены. — Почти в тишине прозвучали слова «спирохета» и «имбирный эль». К Вайтилингаму с выпивкой вернулся дар речи. И он тоже вымолвил в потолок, трепеща золотой рыбкой: «Леди и джентльмены».

— Долго не хочу говорить, — сказал Краббе. — Разрешите сначала сказать, как я рад вас здесь видеть, в частности, выразить удовольствие от присутствия здесь представителей всех рас Юго-Восточной Азии, свободно

общающихся в очевидном согласии в доме грешного англичанина. — Раздался обязательный смех, один Арумугам серьезно кивнул; Вайтилингам, как флейта с сурдинкой, пробовал что-то выдавить, кривя рот. — Мы сейчас, — продолжил Краббе, — много слышим о перспективах расовых разногласий в новой независимой Малайе. Подобные мысли распространяют сомнительные элементы, которые видят в расовых разногласиях превосходное средство преследования собственных гнусных целей. Я, конечно, имею в виду коммунистов.

Раздались благочестивые звуки согласия. Розмари стояла, озадаченная, удивляясь столь странному вступлению к речи о ней и ее обручении. Вайтилингам внезапно и неожиданно вполне четко проговорил:

— Коммунистов, — и выпил еще виски.

— Но, — сказал Краббе, — оставив в стороне коммунистов, никто из нас, думаю, не усомнится, что населяющие Малайю расы никогда особенно не старались друг друга понять. Непонятные суеверия и предрассудки, самодовольство, ультраконсерватизм — все это постоянно преграждало путь к взаимопониманию. Больше того, в период британского владычества мысль об обществе — о едином обществе в противоположность массе отдельных общин — никогда не казалась особенно важной. Государство проводило бездушную, чисто формальную, юридическую унификацию, — импортированную из Британии, — и какую-то поверхностную культурную политику, представленную американскими фильмами, джазом, плитками шоколада и холодильниками; в остальном каждая раса довольствовалась сохранением фрагментов культуры своей родной страны. Никто никогда не видел необходимости в их смешении. Но теперь пришло время. — Он сильно стукнул кулаком по обеденной стойке. — Это должно быть не просто смешение, а слияние.

— Возлияние, — согласно кивнул Вайтилингам.

На него шикнули.

— Необходимо супружество, нужна более либеральная религиозная концепция, требуется искусство, литература, музыка, способные выразить устремления единого объединенного народа. — Ник Хасан цинично ухмыльнулся. — Я предлагаю, чтоб мы здесь, в этом городе, попытались... — Тут Краббе остановился. Сердце его сжалось при виде впечатляюще входившего на веранду Сеида Омара в газетной рубашке с гортанным воркованием.

— Громкие слова, — проворковал Сеид Омар, — громкие слова. Но они не помогут нам делать дело. — Он вошел в гостиную, моргая от пьяной светобоязни, встал, пошатываясь, под вентилятором; ветерок

шевелил растрепанные волосы.

— Ну-ка, давай, Омар, — успокоил его Ник Хасан, — иди на кухню, выпей черного кофе.

— Не хочу я никакого черного кофе. Ничего черного не хочу.

— Ради бога, — шепнул Краббе, — возьми себя в руки, Омар. Нам не надо никаких неприятностей.

— Я никогда не хотел неприятностей, — крикнул Сеид Омар. — Я делал свое дело, правда? Я делал свое дело лучше любого другого. И получил награду. Лишился работы. — Сел в ближайшее кресло и тихо захныкал. Все смутились, встревожились, все, за исключением Вайтилингама. Вайтилингам очень тихо пел песню, которую пели японцы, празднуя падение Сингапура.

— Пожалуй, — сказал мистер Фу, сплошная жирная улыбка, — нам с женой лучше идти.

— Нет, еще очень рано, — возразил Краббе.

— О, — вскричал Сеид Омар, — понятно. Не желаете находиться в одном доме с безработным. Считаете, будто я всего-навсего грязный безработный малаец.

Вайтилингам очень четко подхватил:

— Грязный безработный малаец, — улыбаясь бутылке виски.

Сеид Омар поднялся.

— А если ты чистый тамил, пускай лучше я буду грязным малайцем, — прокричал он. — Это ты виноват, это раса твоя виновата, что я теперь без работы. Твой чертов мистер Маньям и вся ваша проклятая шайка.

— Лучше иди домой, — посоветовал Краббе. — Давай я тебя отвезу. — Вполне можно, думал он, оставить компанию.

Но Сеид Омар стряхнул с себя руку Краббе и продолжал:

— Я скажу то, что должен сказать этим черным ублюдкам.

— Какие грязные слова, — запротестовала миссис Перейра. Розмари старалась прибиться к Лим Чень По, выражая признательность. Вайтилингам прорвался через кордон, улыбнулся и очень отчетливо сказал Сеиду Омару:

— Я тебя знаю.

— Я тебя тоже знаю, ублюдок.

В последовавшей драке никто фактически не пострадал. Немного имбирного эля Ника Хасана пролилось на платье Розмари, платье пропахло бренди. Чи Асма в негодовании замахнулась на ряд бутылок со спиртным, и две покатались по полу, Сеид Омар споткнулся о бутылку рома, упал,

схватившись, как ему показалось, за ближайший неподвижный предмет, каковым оказалась правая нога миссис Фу. Все было абсолютно испорчено.

— Ну, — сказал Идрис, немного пыхтя, — чего теперь будем делать?

— Тише, — шепнул Сеид Хасан. — Услышит. — В доме доктора Сундралингама было темно, но Маньям несомненно был там.

— А что мы будем делать? — спросил Хамза. Никто не ответил; фактически никто не знал.

Каждый смутно в душе воображал какое-то насилие, причем в душе Хасана этот образ затуманивался еще больше ощущением сыновнего долга, вины, а также облегчения, даже странной признательности к Маньяму, потому что отец его, придя домой, объявил, что жалованья больше не будет, за школу платить больше нечем. Хасан рисовал себе прекрасное праздное взрослое будущее, чувствуя при этих мыслях, пока они стояли, тихо и быстро дыша, в крошечной тьме, некое обещание экстаза в чреслах, разжигавшее в нем желание причинить Маньяму какой-нибудь безобидный вред. И вдохновенно сказал:

— Лица носовыми платками завяжем.

— У меня носового платка нету, — признался Азман. Шепот сорвался на последнем слог, в темноте внезапно прогремел ломавшийся бас.

— Ш-ш-ш-ш! Дурак!

— У меня два, — выдохнул Идрис. Он сегодня носил костюм, в пиджаке был платок, кроме платка в брючном кармане.

Навязали на лица маски, и, когда по параллельной шоссе, где они стояли, дороге проехала машина, увидели над ними большие карие глаза друг друга. Азман захихикал.

— Ш-ш-ш-ш!

— Парадная дверь заперта, — решил Хасан. — Наверняка. Попробуем черный ход. Сними пиджак, — велел он Идрису. — Сними галстук. Могут увидеть. Могут узнать. Оставь вон там под деревом. — Идрис повиновался. Они мягко протопали в сандалиях по траве; под ногами то и дело потрескивали сухие ветки. Хамза ушиб палец об кокосовый орех, Идрис поскользнулся на перезрелой папайе под деревом. Над головой сияли звезды, слегка шелестели пальмовые листья, тьма, тишина, безлунность. Дверь кухни была заперта.

— Там бой его спит? — беззвучно спросил Азман.

— Ш-ш-ш-ш! Бой всегда в город уходит. Смотри, вон окно. Открытое.

— Слушай! Маньям храпит во сне?

— Подсадите, — шепнул Хасан. — Посмотрим. Ножи приготовьте.

Он уткнулся в подоконник локтями, друзья поддержали за ноги,

заглянул в темноту, ничего не увидел.

— Влезть, — быстро прошептал Хасан, — влезть помогите. Ножи приготовьте. — Подтянул колени, залез, пролез, беззвучно спустил ноги на пол, вытащил нож; глаза, как нож, пытались распороть темноту. Ни звука. — Азман, — шепнул он. — Теперь Азман. Потом Идрис. Хамза, стой там. Смотри. Тут никого.

Идрис и Азман тоже влезли, Азман вытащил карманный фонарик, смутно осветивший комнату умирающей батареей. Никого. Видно, комната Сундралингама. Постель пустая, москитная сетка опущена, гардероб, туалетный столик, на стене китайский календарь с голой красоткой. Троица тихо, мягко ступая, осторожно вышла из комнаты, открыв чуть скрипнувшую дверь. В новой комнате Хасан стал нащаривать выключатель.

Славная вспышка осветила Маньяма, ошеломленно севшего в кровати. Подобно чи Асме, которая в тот же самый момент сшибала бутылки со стола у Краббе, Маньям был в клетчатом саронге. Широко открыв глаза от неожиданности и испуга, он крепко вцепился в валик под подушкой — пропитанный потом партнер спящих на Востоке, прозванный женой-немкой.

— Что? Что? Кто?

Всегда молено пустить дело на волю случая. Хасан нашел верный ответ.

— Джанван такут, — сказал он, потом вспомнил, что, совершая изощренные преступления, надо говорить по-английски, и добавил: — Не бойся.

— Что? Что? Чего вам надо?

— Мы пришли защитить тебя, — объявил Хасан. — Враги хотят тебя убить. Мы остановим врагов, желающих тебя убить.

— Вы чего это? Кто вы такие? — Огромные глаза Маньяма, черная кожа, масляная от пота; руки, вцепившиеся в жену-немку.

— Только денег заплати немного. Мы не дадим врагам тебя убить, — сказал Хасан.

— Где бабки держишь, дед? — хрипло спросил Идрис. По-американски он говорил лучше, чем Хасан по-английски. — Давай, выкладывай, понял.

Маньям не сводил глаз с ножей.

— Сколько хотите?

— Двадцать баксов, — сказал Азман.

— Сто баксов, — потребовал Хасан, крепко ткнув локтем Азмана. —

Выкладывай, будешь в полном порядке.

— У меня нету денег, — сказал Маньям.

— Спорю, деньги у тебя в штанах, — поспорил Хасан. Мятые зеленые штаны лежали на кресле. — Плати.

— Или, — добавил Идрис, угрожающе взмахнул ножом, уронил его на пол, поймал, повторил все это еще раз. — Или.

— Бумажник в другой комнате, — сказал Маньям. — Сколько там, я не знаю. Пойду принесу.

— Правильно, принеси, — разрешил Хасан. — А мы тут обождем.

— Ага, — кивнул Маньям, проворно вылезая из постели. — А вы тут обождите.

— Идиот, — крикнул Идрис по-малайски. — Там телефон. Держите его.

Ближайший к Маньяму Азман схватил его за саронг, мигом упавший к ногам Маньяма, обнажив круглые черные ягодицы, короткие безволосые ноги, срам Маньяма.

— Пусти, — сердито сказал Маньям. Попытался прорваться в гостиную, упавший саронг мешал; слишком энергично уворачиваясь от Азмана, он запутался в своих ногах, в складках саронга, упал, сильно стукнувшись носом о дверную ручку. Секунду лежал, чертыхаясь, чувствуя, что лицо, только зажившее после побоев, опять разбито. — Черт вас побери! — крикнул он.

— Гони деньги, дед, — пригрозил Идрис. — И никаких больше фокусов, ясно?

— Машина! Машина идет! — прокричал снаружи Хамза.

— Аллах!

— Назад той же дорогой! — приказал Хасан. — В окно, живо.

— Сперва деньги возьмем, — твердил Идрис. — Тут, в штанах.

— Назад, назад, я приказываю, — распоряжался Хасан. — Назад, быстро, быстро.

— Штаны возьми, — сказал Идрис, схватив их со стула.

Голый Маньям пытался подняться с криками:

— Помогите! Убивают! — слыша приближавшийся шум мотора.

Мальчишки помчались стрелой. Азман уже выбрался в безлунный сад, неуклюже свалился на помогавшего ему Хамзу. Идрис со штанами под мышкой последовал за ним, потом вывалился Хасан. Большие глаза автомобиля свернули на подъездную дорожку, высветили маски, нерешительные ноги, гадавшие, удирать или нет.

— Помогите! Помогите! — кричал Маньям из парадных дверей. —

Ловите их, быстро! Вон там!

Вайтилингам на заднем сиденье автомобиля громко пел:

— ...И еще выше солнце, чем прежде, взойдет, и своими лучами могучими грозно сожжет злобный вражеский Запад порочный, согревая улыбкою весь мир восточный, — на простонародном японском.

Арумугам вылез, держа кулаки наготове, высоко скрипя:

— Где? Где?

Мальчишки бросились врассыпную. Идрис с Хамзой попались в огромные руки Сундралингама, слишком поздно сообразив, что подобные приключения не для маленьких городишек, это элемент столичной культуры. Хамза легонько ткнул ножом Сундралингама в руку. Сундралингам взвыл, Хамза с Идрисом улизнули. Арумугам упал, сбитый Азманом с ног.

— Бегите, бегите! — И они бежали. Хасан на бегу вспомнил про пиджак с галстуком-шнурком в кармане, лежавший под деревом. Завтра его черед ходить в униформе. Он побежал туда, готовясь схватить костюм из тени под деревом. Даже в панике и спешке Хасан хорошо понимал, что стал вожаком справедливо, — хватило мозгов вспомнить про необходимость забрать с места преступления решающую улику. (Преступления? Было совершено преступление?) Тут Арумугам, сильный и мужественный под обличьем женского голоса, поймал его, снова быстро встав на ноги. Хасан бился в мускулистых руках, теперь пришла его очередь звать на помощь, но шесть беглых ног топали вниз по дороге, покинув его. Схваченный боевой хваткой, ступая от боли на цыпочках, он шагал к дому, к поджидавшим Маньяму и Сундралингаму, слыша пищавший в ухо голос. Вайтилингам храпел.

Маска была сдернута в доме, освещенном для допроса третьей степени, лицо Хасана осмотрено.

— Сын Сеида Омара, — констатировал Сундралингам.

— Да, да, — пропищал Арумугам. — Что отец, что сын. Это Сеид Хасан.

— Они штаны мои унесли, — заявил Маньям.

— Что это у него?

— Пиджак.

— Деньги были в кармане? — спросил Сундралингам. И пососал ранку на руке.

— Бумажник. Да, какие-то деньги, немного.

— А лицо, — заметил Арумугам. — Они тебе лицо разбили.

— Да, да, это тоже.

— Пембохонг, — взорвался Хасан, — врун. — Арумугам стиснул его покрепче. — Ой! — крикнул Хасан.

— Ну, — сказал Сундралингем, — звоню в полицию. Неужели Сеид Омар никогда не избавится от неприятностей?

Итак, еще сравнительно рано вечером компания распалась, гостиная выглядела словно утром после вечеринки, Сеид Омар стонал над своим черным кофе.

— Но, черт побери, — сказал Краббе, — сдается мне, что в потере работы никто не виноват, кроме тебя самого.

— Другие, — сказал Сеид Омар, закрыв глаза на свет, обмякнув в кресле, — другие делали то же, что я, и не потеряли работу. У меня пропало всего одно досье, хотя я не думаю, будто в самом деле его потерял, кто-то специально украл. Никогда не претендовал, будто хорошо на машинке печатаю. Брал совсем мало отгулов. Один раз в столе была бутылка виски, и то потому, что болел лихорадкой. Другие хуже делали и не получили отставку. Меня подставили. За этим стоит Маньям.

Лим Чень По деликатно зевнул, по-прежнему держась на расстоянии от Розмари, искусительно усевшейся перед ним на диване. Розмари дулась с дурным суеверным предчувствием из-за провалившейся или лопнувшей вечеринки в честь своего обручения. С отвращением поглядывала на Сеида Омара, обвиняя его, виня Краббе, потом решила обвинить Лим Чень По в неудавшемся вечере; если теперь Джо напишет, разорвет помолвку, тоже будут они виноваты.

— Кто твое место получит? — спросил Краббе.

— Не знаю, не знаю, — простонал Сеид Омар. — Наверно, какая-нибудь тамильская женщина, очередная родня этих черных ублюдков.

— Ну уж, в самом деле, — возмутилась Розмари, шевеля идеальными губами.

— Наверно, придется тебе чего-нибудь подыскать, — вздохнул Краббе. — В моем офисе может открыться вакансия. Хотя, — добавил он, — фактически это теперь не мой офис.

Потом раздался шум машины, слишком тяжелой для личного автомобиля; фары высветили засохшие цветы в горшках на веранде у Краббе.

— Кто бы это ни был, — сказал Краббе, — слишком поздно для вечеринки.

Загромыхали железные дверцы, ботинки. На веранде остановился инспектор Исмаил, отдал честь, продемонстрировал массу зубов и сказал:

— А, так я и думал, что он еще здесь. Извините за вторжение, мистер

Краббе. Неприятности с сыном Сеида Омара. Лучше Сеиду Омару явиться в участок.

— Неприятности? Какие неприятности?

— Неприятности? — Рот Сеида Омара открылся, как в кресле дантиста, глаза стали огромными, невзирая на свет.

— Твой сын со своими дружками пытались зарезать мистера Маньяма ножами. Сорвали с него одежду, ударили по лицу, повалили, били ногами, украли брюки с деньгами, покушались на мистера Арумугама, хотели насмерть пырнуть ножом доктора Сундралингама.

— Нет!

— О да, — улыбнулся инспектор Исмаил. — Все сейчас у нас в участке. — Он докладывал радостно, словно в участке собралась компания тем более приятная, что неожиданная. — По-моему, Сеид Омар тоже должен пойти.

— Ох, боже, боже, боже, — сказал Краббе. — Зачем, ох, зачем они это делают?

— К сожалению, — улыбнулся инспектор Исмаил, — поймали только Сеида Хасана. Остальные удрали. Хватит и Сеида Хасана. По крайней мере, на данный момент.

— Слушайте, я не могу поверить во все эти рассказы про убийства и прочее, — сказал Краббе. — Разрешите мне перемолвиться словечком с Маньямом и с остальными. В любом случае, может быть, это лишь глупая детская шутка. Они должны снять обвинение.

— Но, — улыбнулся инспектор Исмаил, — это, собственно, дело полиции. Понимаете, у них было оружие. А вторжение в дом дело очень серьезное.

— Я подвезу Омара, — сказал Краббе.

— Держитесь подальше от таких вещей, Виктор, — посоветовал Лим Чень По. — Держитесь подальше от всех этих азиатских вещей. Вы обнаружите, что забрели в ужасающе глубокие воды.

— Я его подвезу, — сказал Краббе. — Останьтесь здесь с Розмари. Выпейте. Съешьте чего-нибудь. Я недолго.

— Мой сын, — вымолвил Сеид Омар, — мой сын, мой сын. Они нас всех погубили, всю семью. — И всхлипнул.

— Ну, возьми себя в руки.

— Я бессилен, бессилен.

— Ну, ладно. Чень По, останьтесь с Розмари. Я скоро вернусь.

Лим Чень По с Розмари остались одни под ветерком вентилятора среди грязных тарелок; из кухни слабо доносилась рожденная бренди песня боя-

повара. Лим Чень По, подойдя к столу выпить, сказал:

— Виктор глупец. Не надо бы ему делать подобные вещи. — Розмари встала, зная, что лучше всего выглядит, стоя прямо, высокая, как коричневое гладкое дерево, и всхлипнула:

— Ох, я так несчастна, так несчастна.

Лим Чень По озадаченно оглянулся с бокалом в руке.

— О, дорогая, дорогая моя леди, вы не должны быть несчастливы. Что все это для вас означает?

— Ой, — взвыла Розмари (до чего глупые эти мужчины), — ой, не в том дело. Я так несчастна. Хочу умереть. — И стала ждать утешительных объятий.

— Полно, полно, — сказал Лим Чень По, — сядьте. Выпейте. Расскажите мне обо всем.

— Я не хочу садиться. Ой, жизнь ужасна. Ужасна.

— Ну-ну, полно, полно. — И вот они, утешительные объятия, такой английский, такой утонченный голос, запах крема для волос, лосьона после бритья, невидимого талька, мыла «Империял Лезер», хорошей одежды, мужчины. Розмари хныкала на груди Лим Чень По, сухо шмыгала, потому что от слез тушь раскрасится.

— Ну-ну-ну.

— Так несчастна, так несчастна.

— Теперь лучше?

— Так несчастна.

Лим Чень По, англиканец, крикетист, уважаемый муж и отец, позволил своим животным инстинктам прогуляться на поводке. От Розмари приятно пахло, кожа была приятна на ощупь, легкий поцелуй в левый висок не так скучен, как бесконечное повторение «ну-ну-ну». Закрыв глаза, она подставила ярко-красные губы. Он раздумывал, стоит ли прильнуть к ним своими, когда вошел Вайтилинг, пошатываясь, но слегка, не слишком пьяный.

Вайтилинг был оставлен, по всей очевидности спящим, на заднем сиденье собственного автомобиля, а друзья, рассерженные, что он их снова подвел в нужный момент, отправились в участок в полицейском фургоне. Но в действительности Вайтилинг в своем опьянении знал о творившемся рядом насилии и не очень хотел ввязываться. Если на его друзей кто-то напал, это, может быть, хорошо: ему все больше надоедала братская опека, кудахтавшая над ним. Если его друзья на кого-то напали, тоже хорошо: тамилы из Джафны достаточно пострадали от всего мира. Он воздвиг неприступную башню из пьяного храпа на заднем сиденье

автомобиля и, только когда в сад и в дом вернулась тишина, прекратил притворяться. Потом с пьяной осторожностью поехал к дому Розмари, нервно улыбнулся, не обнаружив ее, и пошел зигзагами по дороге к дому Краббе. Там нашел ее в объятиях китайца из Пинанга. Виски в нем глухо бурчало.

— Прекратите, — приказал он с великой силой и четкостью. Лим Чень По с большой радостью прекратил. Розмари оглянулась, изумилась и возразила:

— Вай!

— Прекратите, — повторил он, хотя все уже прекратилось.

— Дорогой друг, — проговорил Лим Чень По с цивилизованной укоризной.

— Думаете, — сказал Вайтилинг, — будто можете делать со мной что угодно. Но... (возникали кое-какие трудности с лабиальными) но я мужчина. — Помолчал, дав им время усвоить, и думая, что сказать дальше. — Такой же, как другие мужчины.

— Идите домой, Вай, — велела Розмари, сдерживая темперамент. — Вы слишком много выпили.

— Я жду. — Он сделал паузу и пошатнулся. — Жду ответа.

— Идите домой, — притопнула она изящной ногой. — Пожалуйста, пожалуйста, домой идите.

— Вот как. А ему можно. Ему можно.

— Что можно? — рявкнул Лим Чень По. Вечер не доставил ему ни малейшего удовольствия.

— Любому прошедшему мимо мужчине, — сказал Вайтилинг. — Любому. С ней можно.

— Вай, что за гадкие и безобразные вещи. — Лицо Розмари рассыпалось на части. — Убирайтесь сию же минуту, слышите?

— Кроме меня.

— Послушайте, старина, — сказал Лим Чень По, — возьмите себя в руки. — Похоже, это был лейтмотив всего вечера. — Идите теперь домой, хорошенько поспите, утром почувствуете себя лучше. Видите, вы расстроили леди.

— Я только хочу, — пояснил Вайтилинг. — Я только хочу, — повторил он, — жениться на ней. Бе... (споткнулся на очередной взрывной лабиальной) ...беречь ее. — Кивнул, пошатнулся. — От себя самой.

— Не нужны мне ваши заботы, — крикнула Розмари. — Убирайтесь, убирайтесь, или мистер Лим вас вышвырнет.

— Дорогая леди...

— Он за мной все время таскается, — кричала Розмари. — Все время докучает. Хочет, чтоб я за него вышла. А я не пойду, никогда, никогда.

— Твой драгоценный Джо, — сказал Вайтилинг, — на тебе не женится. — И улыбнулся всей комнате, словно кругу невидимых друзей. — Никогда.

— Откуда ты знаешь? — злобно крикнула Розмари. — Что ты об этом знаешь? Заткнись, слышишь?

— Он не хочет на тебе жениться. Джо одного хотел. И получил. — Вайтилинг с улыбкой кивнул несколько раз.

С Розмари шелухой слетела Слоуи-сквер, Хартнел, одноразовые украшения, туман, первоцветы, пышки у камина, и она вульгарно набросилась на Вайтилинга. Лим Чень По опешил.

— Сука, — выдавил Вайтилинг с некоторым трудом и еще с большими затруднениями: — Сука проклятая. — Потом добавил с любезной официальностью: — Прошу вашей руки. В браке.

— Никогда, никогда, никогда, слышишь, ты? Никогда! — Глаза Розмари опасно сверкали огнями на покосившейся башне. — А ну, проваливай!

— Полагаю, — сказал Лим Чень По, — лучше мне проводить вас домой. — И взял ее за руку.

— Нет, — кричала Розмари, — пускай он домой идет. Как он смел такое сказать? Гадость, гадость! Гоните его, или я ему врежу!

— Предлагаю вам пойти домой, — предложил Лим Чень По Вайтилингу. — Знаете, нам совсем ни к чему неприятности. Тем более в доме мистера Краббе.

— Я прошу ее руки. Жду ответа.

— Ты уже получил ответ. Никогда, никогда, никогда! Не хочу тебя больше видеть после такого гадкого грязного вранья! Вообще никогда не хочу больше видеть!

— Идемте, дорогая леди, — настаивал Лим Чень По, ведя ее к двери. Розмари всхлипывала. Вайтилинг слегка качнулся, по-прежнему улыбаясь. Сумасшедший дом, думал Лим Чень По, вся Азия — сумасшедший дом. Он был рад отделаться от всего этого. Церковные колокола по воскресеньям, горькое пиво, игра в дартс в пабе, цивилизация. Пусть Краббе заботится о Малайе.

Глава 5

Краббе сидел ранним вечером дома, мрачно пил джин с водой, ожидая, когда алкоголь, как какая-нибудь великая романтическая симфония, отравит нервы, приведет в настроение покоя и смирения. День выдался тяжелый. Ученики местной англокитайской школы решили бастовать и на целый день выставили пикет в школьном дворе, носили революционные идеограммы на плакатах и транспарантах. Краббе был послан расследовать дело, но ничего не выяснил. Коммунистическая ячейка затаилась где-то во множественных потоках четвертого класса. Он взывал к мятежникам по-английски и по-китайски. Школьный инспектор обратился к ним на кво-ю, столь же далеко от бесстрастных слушателей, как язык Кадма [\[19\]](#). Ученики согласились завтра вернуться и удостоились массы похвал за гражданскую сознательность.

Этот крошечный бунт был какой-то цепной реакцией связан с глупой эскападой Сеида Хасана. Невозмутимые умеренные в лавках и на базарах, за кофе или щупая рулоны шелковых тканей пришли к массе невероятных заключений. Говорили, малайцы начинают восстание: точат паранги и крисы. Для начала позавтракают тамилами, облизываясь в предвкушении богатого китайского обеда. Юный Хасан никогда не хотел связываться с политикой, стремясь просто к беспристрастному насилию или к угрозам самого распространенного толка, но единственная проведенная взаперти ночь превратила его для остальной малайской молодежи в нечто вроде Хорста Весселя. Сейчас его выпустили под залог в пятьсот долларов, которые, разумеется, пришлось раздобыть Краббе. А теперь кое-кто поговаривал, будто именно Краббе стоит за восстаньем малайцев; болтали, что он тайно женился на своей ама и принял ислам.

Сеид Хасан с большой готовностью выдал трех своих друзей, рассудив, что, если ответственность за преступление разделится на четверых, в равной мере разделится и наказание. Англичане научили его арифметике, но не этике. Проницательные глаза Маньяма, Арумугама и Сундралингама, видимо, без труда заглянули в темноте под маски, ибо Идрис, Хамза и Азман были мигом опознаны как остальные преступники. Залога за эту троицу не нашлось, поэтому им пришлось томиться за решеткой. Отсюда пошли дальнейшие пересуды по поводу Краббе: почему такое предпочтение? Почему белый мужчина еще раз не покопался в своих глубоких денежных мешках? В конце концов, отец Хамзы работает на

оловянном руднике землекопом, дядя Азмана, как минимум, три недели набивал каучуковые набойки, а хорошо известно, что англичане разбогатели на олове и каучуке, на природных богатствах, по праву принадлежащих Малайе, имея в виду малайцев.

Поэтому Краббе с облегчением прочел послание, доставленное полицейским:

«Убит директор школы в поместье Дарьяи. Просьба провести расследование. Я поехал бы, если бы мог, но кто-то должен в офисе остаться. Предлагаю отправиться вечерним поездом».

Поистине, с экспатриантами нынче не церемонятся: правильно и справедливо, чтоб новые хозяева сидели в офисах. Краббе взглянул на часы, увидел, что у него есть час до поезда в Мавас, уложил рубашки, бритву, удобно уселся приканчивать бутылку джина. Иначе в его отсутствие повар прикончит. Медленное величественное Брамсово течение шестого стакана грубо прервал телефонный звонок.

— Вики, вы? Это Ники.

— Да, Ники, это Вики.

— Насчет денег, оставленных Уигмором. Помните, двадцать тысяч баксов штату. На следующей неделе собрание.

— Хорошо. Я буду.

— Ладно, Вики, если хотите, только ничего хорошего не выйдет.

— Что вы хотите сказать?

— Уже решено. Точно как я говорил. Султан хочет «кадиллак».

— Но черт побери, не может он так поступить. Ведь условия завещания вполне ясные, правда? Там ведь сказано, на благо штата, не так ли?

— Точно, как я говорил. Подготовлены обоснования. Скажут, величайшее благо — благо для султана.

— Кто скажет?

— Султан, раджа Перемпуан, Тунгку Махота и ментри безар.

— А вы?

— Ну, проклятье, что я могу сделать? Мне надо думать о своей работе. Кроме того, по-моему, они на самом деле правы. Я бы на вашем месте, Вики, все это бросил. Зачем вам неприятности.

— Ничуть не возражаю против неприятностей. Кто исполнитель завещания Уигмора?

— Протеро. Он тоже член Совета, если хотите знать. И не возражает.

— По обычной причине, да? Не хочет потерять государственную должность.

— Дело просто того не стоит, Вики. Он говорит, условия завещания распространяются на «кадиллак».

— Я собираюсь подключить к делу Лима. Я все это оспорю. Чертовский позор.

— Не делайте никаких глупостей, Вики.

Краббе швырнул трубку. Потом кликнул повара, сообщил о своем отъезде на пару дней.

— Я, — предупредил он, — точно знаю, сколько в буфете бренди. И виски. — Китаец невыразительно улыбнулся.

Джалиль захрипел на двух кошек, лежавших в единственном свободном кресле, довольно грубо их согнал. Потом сел, тяжело дыша в спину Розмари, притворявшейся, будто она его игнорирует, старательно дописывая авиаписьмо на столе.

— Кому пишете? — спросил Джалиль.

«...жажду вновь попасть в твои объятия, — писала Розмари, — чтоб усы щекотали мне ухо. О, милый, у меня от этого такие мурашки».

— Ему, знаю, — фыркнул Джалиль. — Но ничего не выйдет. Он не женится.

«Умираю, не дождусь того дня, когда мы с тобой опять будем вместе и скажем друг другу нужные слова, — писала Розмари. — Бесконечно люблю тебя, милый». — Осталось достаточно места для подписи и запечатленного поцелуя. Она поднесла тоненький голубой бланк к сильно накрашенным губам, прижала, как дама, подавляющая салфеткой послеобеденную отрыжку. Потом энергично сложила письмо, заклеила чуточкой сгущенного молока, капнув каплю на палец из жестяной банки. И ритуально ответила Джалилю:

— Ооооох, уходите, Джалиль, вам здесь нельзя оставаться, нельзя, знаете, я велела, чтоб ама вас не пускала.

— Пойдем поедим, пойдем выпьем, пойдем повеселимся. — Джалиль зевнул. Кошка зевнула.

— Нет, — сказала Розмари. — Хочу лечь пораньше.

— Я тоже, — сказал Джалиль.

— Джалиль, какие вы говорите гадкие, жуткие, просто грязные вещи. — Розмари принялась подпиливать ногти. Воцарилась тишина. Краткая церемония завершилась.

— Давно что-нибудь от него слышали? — спросил Джалиль.

— Не ваше дело.

— Давно?

— Если хотите знать, мы каждый день пишем друг другу. Ни разу не

пропускаем. Потому что любим друг друга, да вы же не знаете, что такое любовь.

— Знаю, что такое любовь. Любовь — мужчина с женщиной в постели.

Розмари снисходительно улыбнулась.

— Это по-вашему. Потому, что вы — азиат. Вы, азиаты, ничего не знаете о настоящей любви.

— Давно что-нибудь от него слышали?

— Я вам говорю. — Голос Розмари набирал учительскую резкость. — Каждый день пишет.

— Сегодня получили письмо?

— Конечно, получила.

— Да, сегодня пришло письмо. Но еще нет.

— Что вы хотите сказать?

— Больше двух недель не пишет. Сегодня пришло письмо, только вы еще не получили.

— Джалиль, — пригрозила Розмари, — если вы снова приметесь за свои грязные фокусы, я вас ударю и вышвырну. Полицию вызову. Я не забыла случай с Блэкпулской башней.

— Каждый день спрашиваю про письмо сикха в почтовой конторе. Он мне его сегодня отдал. У меня письмо надежней. Вот оно. — С тихим астматическим триумфом Джалиль вытащил из нагрудного кармана синий авиаконверт. — Написал наконец. Плохую весть прислал. Знаю. Не читал, а знаю. Читайте теперь.

Розмари яростно бросилась на Джалиля. Кошка метнулась на кухню, другая под стол. Под мощным напором кресло Джалиля перевернулось, он упал вверх ногами, Розмари царапала ему лицо. Он немного попыхтел, потом принялся глубоко фыркать, схватив, наконец, ее за руки. Оба лежали теперь на полу, испуганные кошки смотрели, как они ворочаются. Розмари плевалась, пыталась кусаться.

— На этот раз, — прохрипел Джалиль, — ты попалась. Попалась по-настоящему.

— Поросенок. Свинья. Гад. — Платье без плеч спустилось ниже плеч. Астма Джалиля хрипела в правое ухо. Юбка задралась. Кошки карабкались, прыгали, таращили глаза, высоко задрав от испуга хвосты, вздыбив шерсть.

— Сейчас, — прохрипел Джалиль, как бы умирая. Розмари завизжала, зовя ама, но никто не пришел. В левом кулаке она сжимала смятое письмо, за которое билась.

— Один я люблю, — потел Джалиль. — Сейчас. Увидишь. Сейчас. —

Он отчаянно глубоко напрягал легкие, стараясь вдохнуть чайную ложку воздуха. Розмари рванула его за правое ухо, крутя, как ручку радиоприемника. Джалиль почти не замечал, сосредоточившись на дыхании и напряженных руках. Потом Розмари оперлась на колено.

Забившись в угол, она большими черными глазами-озерами смотрела, как он к ней ползет, и сама задыхалась. Комната наполнилась тяжелым дыханием, вентилятор и холодильник молчали. Когда Джалиль встал на ноги со свесившимися на правый глаз черными эскимосскими волосами и, задыхаясь, рванулся к ней, Розмари бросилась к кухонной двери, вырвалась через нее в помещенье для слуг, распахнула другую дверь, оказалась в неопрятной камере (пол усеян окурками, оставшимися от церемонии возжигания, мощная вязальная машина, картонные коробки, полные мусора, ама ушла без разрешения), добралась до входной двери, слава богу не запертой. Плача, стискивая письмо, бежала в вечернем пекле по пустому шоссе, босиком, всхлипывая, к дому Краббе.

Дом Краббе казался пустым, не из-за закрытых дверей, не из-за темноты, — время включать свет еще не пришло, — а из-за отсутствия у подъезда машины. Каким голым тогда показался подъезд: кадки с можжевельником, засохшие сброшенные хвосты ящериц, трупки цикад, свободно скачущие лягушки, окурки, пыль, сильный запах бензина, обычно скрытые объемистым металлическим телом, казались теперь символами запустения. Розмари толкнула переднюю железную застекленную дверь, но она была заперта; пошла вокруг к помещеньям для слуг, крикнула:

— Бой! Бой! — но никто не вышел. (Собственно, бой Краббе был на месте, ама Розмари тоже.) Розмари направилась к веранде с раздвижными дверями, стала дергать створку за створкой. У нее от облегченья ослабли колени, когда одна створка слабо подалась внутрь, главная, с крошечной ручкой, не запертая на задвижку, почти настоящая дверь. Она в нерешительности остановилась в гостиной, где пахло запертым теплом, позвала: — Виктор! Виктор! — Темнота тихо стала сгущаться, вырисовывая кресла, ложась на столы и буфеты. Может, он в спальне? Розмари прошлепала по длинному коридору, мимо второй спальни, которую Краббе использовал под кабинет, к большой комнате, где стояла одинокая односпальная кровать. — Виктор! — Москитная сетка в комнате опущена, призрачно серая в слабом свете. Краббе нигде не было: дверь в туалетную широко открыта, ванна, душ молчат. Розмари тихо всхлипнула, великолепная в растрепанном виде, по-прежнему сжимая в кулаке смятое письмо. Встревоженная шумом жаба пропрыгала к ванной, таракан шмыгнул вверх по стене. Она устало раздвинула полы москитной сетки,

легла на кровать. Разгладила письмо, попробовала прочитать. Смятые слова плыли, расплзались, смешивались с бриллиантами, расплывались в крупных каплях слез. Конечно, она все время знала, всегда.

«...Если б ты познакомилась с Шейлой, уверен, вы очень бы подружились. Она, конечно, на тебя ни капельки не похожа, совсем англичанка, глаза голубые. Так или иначе, говорит, будет работать, пока я чего-нибудь не подыщу, у нее работа хорошая, личный секретарь, а я вполне могу не получить место в той самой экспортной или импортной фирме, какая бы ни была. В любом случае, я хочу, чтобы ты все равно носила кольцо, думала обо мне, на него глядя, может, снова вспоминала при этом счастливые времена, когда мы были вместе. Я совсем не жалею, что купил его для тебя, милая, потому что времена были хорошие, правда, приятно думать, что нам обоим есть что вспомнить друг о друге. Только, как говорится, Запад есть Запад, Восток есть Восток, нам обоим, дорогая, было бы очень трудно, если бы мы поженились. А если б были дети, для них это просто кошмар, правда, поэтому, может быть, все устроилось к лучшему. Ты обязательно скоро найдешь хорошего мужа, потому что потрясающе выглядишь, любой азиат гордился б такой сногсшибательной женой. Знаю, когда мы с Шейлой поженимся, в следующем месяце, и окажемся вместе в постели, часто буду вспоминать о тебе и о том, что мы делали. Теперь прощай, дорогая, благослови тебя Бог, не думай слишком плохо о любящем тебя Джо».

Розмари изливала потоки горя в подушку Краббе. Лицо треснуло, раскололось, жуткий распад совершался в глубинах ветхой материи; вой, лай, загробные стоны и вздохи сотрясали тело, отчего кровать прыгала и тряслась. (Самец-ящерка на стене с громким щелканьем индифферентно охотился за самкой.) Только прелестная патина плоти Розмари, чудесные изгибы и линии, принадлежавшие не ей, а всему виду в целом, только они не подверглись распаду, хотя руки-ноги дергались, грудь тяжело вздымалась, переживая горе. Время от времени она выдыхала: «Джо!» — ровным животным криком, которому обмякшие голосовые связки придавали неженскую глубину, а носоглотка, забитая слизью, обогащала всеми резонансами. Земля не поглотила ее, это мягко сделала тьма.

Роберт Лоо, нерешительный в полной тьме при встававшей луне, ясно слышал странные звуки с веранды. Конечно, не может быть, чтоб это был мистер Краббе. Или может? Он крепче зажал кейс под мышкой, гадая, войти или нет. Старательно вслушиваясь, решил — голос женский; видно, мистер Краббе с женщиной в постели, заставляет ее кричать от боли или от наслаждения. Ничего подобного этим крикам он раньше не слышал, но они

его не пугали, даже не вызывали особого любопытства: единственными существенными звуками в жизни Роберта Лоо были музыкальные звуки, предпочтительно воображаемые, тогда как эти слишком внешние, безусловно не музыкальные. Все равно, Краббе там и, когда насытится тем, что делает, много сможет услышать и кое-что сделать. И Роберт Лоо с уверенностью вошел в темную гостиную. Направился к столу, зная о стоявшей на нем электрической лампе, нашарил выключатель лампы. Свет брызнул во тьму, огромный розовый круг. Роберт Лоо сел в кресло, вытащил из кейса нотную бумагу и мирно принялся за оркестровку такта, который так долго ждал превращения в ощутимые точки, палочки, хвостики: первый такт скрипичного концерта — вступительный крик оркестра, во всей полноте, от пикколо до басов. Женские стоны тем временем продолжались. Флейты, гобои, кларнеты, скакнувшая вниз тема фаготов, клином вбитая гармония рожков. Он спокойно и аккуратно вписывал ноты авторучкой с тонким пером.

Стоны стали стихать, замедляться, будто кто-то умирал, как в конце «Пасифик 231» Онеггера. Звуки наслаждения или отчаяния обрели артикуляцию, сложились в отчаянно с каплей надежды выкрикнутое имя.

— Виктор!

Роберт Лоо поднял голову, ручка остановилась среди группы восьмушек.

— Виктор, это вы? — Потом вздохи, глубокое шмыганье, тряска кровати. Роберт призадумался, нахмутив над глазами морщинку. Видно, Краббе не там. Может, ушел на минуту, а ее оставил. Тогда откуда странные крики?

— Виктор, Виктор, идите сюда.

Роберт Лоо сидел в нерешительности. Потом положил свою пачку бумаги и ручку, прошел полпути к темной спальне по темному коридору.

— Мистера Краббе здесь нет, — мягко сказал он.

— Что? Кто там? — Снова затряслась кровать, как будто кто-то сел. В голосе оттенок испуга.

— Я. Роберт Лоо. А вы кто?

— Что ты тут делаешь? — В голосе больше уверенности, даже любопытство.

— Пришел повидаться... — Но смешно разговаривать на расстоянии в темноте. Роберт Лоо направился к спальне, в коридоре нашел выключатель. Желтый клинический свет обнажил длинную голую коридорную стену, сплошь застекленные окна с жалюзи с одной стороны, оживленную жизнь насекомых, молодого черного скорпиона высоко под низким потолком.

— Не зажигай свет, — предупредила Розмари. — Не надо. Вид у меня еще тот. Не надо тебе меня видеть.

— Я хочу только спросить, — сказал Роберт Лоо, стоя на пороге. — Его нет? Когда он вернется?

Внезапно снова взорвался оркестр целиком.

— Никогда! Никогда! — Грандиозный вопль утраты. — Никогда не вернется. Я потеряла его, потеряла! — Опять громыхнула кровать, когда она повернулась, проливая новые слезы в промокшую уже подушку. Роберт Лоо стоял, гадал дальше, считал себя как-то причастным теперь к ужасающим крикам страдающей женщины. Ему было бы трудно уйти: зайдя так далеко, заговорив, он должен был что-то сказать. Его слегка удивляло, что Краббе затеял какую-то крупную, как в кино или в опере, интригу с женщиной, личность которой сейчас должна была выясниться. Он читал много оперных партитур, исключительно ради музыки, но и либретто порой оставляли какое-то впечатление, главным образом подсознательное. В школе проходили «Антония и Клеопатру». «Он вспахал ее, и она понесла». Он вошел в спальню, встреченный сильным, опустошающим легким всхлипом, потом бурлящим океаническим вдохом. И включил свет.

Розмари лежала каким-то неведомым зверем в сетчатой клетке, разметав по постели пышные черные волосы, раскинув в прострации коричневые руки и ноги, в беспорядочно смятом платье. При кинжальном ударе света протестующе повернула расплывшееся лицо с квадратным плачущим ртом.

— Выключи, выключи! — Двинулась выгнутая дугой рука — вниз, вверх, — когда она вытирала кулаком слезы. Роберт Лоо с легким восхищением смотрел на голую коричневую руку. А потом заговорил.

— Сочувствую, — сказал он.

— Ты не понимаешь, что это такое, ты просто не знаешь!

— Куда он ушел?

— К другой женщине! Навсегда меня бросил!

— Прошу вас, — попросил Роберт Лоо. — По-моему, это важно. — Сел на стул у кровати, на стул, накрытый; полосатой пижамой Краббе. — Мне очень нужно повидать мистера Краббе.

Розмари перестала плакать. Взглянула сквозь мокрую пелену на Роберта Лоо и сказала:

— Ты ничего об этом не знаешь. О настоящей любви. Как у нас с Джо. — При упоминании этого имени все началось сначала.

— О, понятно, — сказал Роберт Лоо.

— И мне не к кому пойти, не к кому!

— Я могу чем-то помочь?

— Нет! Нет! Нет! — Она вновь погрузилась в соленую воду, позволив себе это даже перед столь неадекватной аудиторией, в приятную теплую глубину горя со вкусом рассола. Роберт Лоо гадал, что делать. Платная танцовщица, с которой, как ему было известно, когда-то дружил отец, пыталась, переживая подобное горе из-за мужчины (не из-за его отца), принять едкий натр. Он знал — это традиционный китайский способ. Даже в тумбочке у его матери стояла однажды бутылочка этой стандартной смертельной летеиской воды. Китайцы предусмотрительны, держат даже запас разлитой в бутылки смерти. Он вспоминал историю той самой платной танцовщицы: из рук у нее вырвали едкий натр, и она с помощью бренди «Бихив» вернулась к разумной философии. Надо влить в трясущуюся глыбу погибающей женщины немного бренди Краббе. Кажется, ему известно, где оно стоит.

Но, даже наливая мерку в пивной стакан, он почти позабыл свою миссию, изучая наполовину записанный такт, не слишком уверенный в правильном расположении рожковых гармоний. Однако вернулся, мягко, неспешно, в спальню, раздвинул москитную сетку и предложил:

— Выпейте.

Она села, выпила между остаточными рыданиями, как воду. Роберт Лоо стоял у края постели, придерживал кончиками пальцев доньшко стакана.

Плечи ее переставали вздыматься.

— Ты зачем сюда пришел? — спросила она.

— Повидать мистера Краббе. Понимаете, я из дома ушел.

— Ох, значит, дома узнали, да?

— Узнали? Что?

— Про тебя с ним,

— Я не понимаю. Проблема с моим отцом. Он ударил меня.

— Узнал, значит, да?

— Нет, отец увидел. Увидел, как малайцы украли с полки сигареты и убежали. И обвинил меня. Разорвал кое-какие мои сочинения и ударил меня. Перед несколькими покупателями.

— Ох.

— Поэтому я теперь хочу ехать в Англию. Учиться. Мистер Краббе все устроит.

— Англия! — Она смертным воєм вывела это слово, на манер какого-нибудь голливудского Питта [\[20\]](#). — В Англии Джо. Джо, Джо, Джо! — И

опять рухнула, как-то обвив руками-ногами Роберта Лоо. Даже он понял необходимость в некоем формальном утешительном жесте. И начал поглаживать голую руку, опасливо, но, будучи музыкантом, ритмично..

— Не к кому пойти, — молвил в подушку придушенный подушечный голос. Роберт Лоо продолжал поглаживать, теперь медленно, как бы *alìa marcìa* [\[21\]](#). Тихие струнные, монотонная альтерация минорных или, скорее, тональных аккордов. Дорийский лад. У плеча вступила самая патетическая тема — соло трубы. При внезапном sforцандо он непроизвольно на миг стиснул плечо. Определенно нарастало творческое возбуждение, выраженное в спазмах желез, хорошо ему знакомых. Розмари чуть шевельнулась. Он понимал, что рука его, кажется, движется неведомо куда. — Нет, — сказала Розмари, — не к кому пойти. Никто меня не утешит.

— Очень сочувствую. — Тон трубы странно хриплый, почти астматический.

— Выключи свет. Стыд, на что я похожа. — Выключатель болтался на шнуре у кровати. Левой рукой Роберт Лоо погрузил спальню почти во тьму. В коридоре свет сиял, но лица Розмари почти не было видно. По-прежнему поглаживавшая рука находила больше наготы, чем ожидала; нагота выплывала теперь из глубин, из пустой ладони или подмышки. Не умея плавать, на берег не выбраться, в любом случае, не хватает дыхания плыть. Возникшее удушье было незнакомым и как бы подталкивало поскорей утонуть. Другой мужчина, о котором он где-то читал, слышал смешные страстные слова, которые тот распевал в опере, начинал обволакивать Роберта Лоо, как обвисшая верхняя одежда. Вот во что он превратился: голова парит где-то отпущенным воздушным шаром, руки в суставах болтаются, их оживляют моторы, умеющие гладить, а потом ласкать. Музыка попискивала издали с потолка; в мусоропроводе квакала жаба. Начиналось крещендо, которое как бы требовало новой формы нотации. Правда ведь, раньше никто никогда не писал fffffff? Невозможно. Потом он увидел, что это фактически невозможно. Вся композиция рухнула, но память о творческом акте, замысел целого грандиозного сочинения милостиво сохранился.

Утешители, расслабившись в саронгах после рабочего дня, сбросили сандалии на верхней ступеньке лестницы Сеида Омара, выразили почтение женам, старшим детям, мрачному главе семейства. Сеид Хасан ретировался, показывая домашним лишь пристыженную спину, включил радио, перебирал ручки пальцами, как покаянные четки.

— Вон он сидит, — указал Сеид Омар, — птичка под залогом, ждет

судного дня, позор для отца. — Радио сердито взорвалось, словно грубое не сыновнее слово. — Выключи! — крикнул Сеид Омар.

Трем визитерам принесли апельсиновый сок.

— Ну, — спросил чи Юсуф, бывший коллега Сеида Омара, в высшей степени похожий на клерка в роговых очках, с аккуратными ределящими волосами, — нашел уже чего-нибудь?

— Жду, — сказал Сеид Омар. — Краббе обещал место в Министерстве образования. Да ведь обещания белого человека, как нам известно, не всегда выполняются.

— Все-таки, — напомнил чи Рамли, жирный учитель малайской школы, — он на залог нашел деньги, правда, тот самый Краббе?

— Да, — подтвердил Сеид Омар, — нашел, и мне интересно теперь почему.

— К чему такая подозрительность, — сказал чи Юсуф. — Может, просто сердечная доброта, щедрость натуры, желание помочь малайцам.

— Не знаю, — сказал Сеид Омар. И повернулся к сыну. — Можешь снова включить радио, — разрешил он. — Громко. — Тут же забубнила сводка новостей по-тамильски. — Сойдет, — прокричал Сеид Омар. Потом нагнулся к друзьям, друзья склонились к нему, застыли, и Сеид Омар, уставившись на чи Ясина, чиновника Земельного министерства с глазами-щелками и шипящими зубами, высказал свои наихудшие опасения: — Знаете, тот самый Краббе, понимаете, не бегает за женщинами, известно о его связи, как минимум, с одним китайским мальчишкой из города.

— Ты имеешь в виду, — уточнил чи Рамли, — что он из племени пророка Лота.

— Можно и так сказать, — сказал Сеид Омар. — Ну, я вполне уверен, моему сыну он еще авансов не делал, хотя, может быть, это начало, может, он хочет, чтоб мы ему были обязаны. Но мне в кофейнях уже кое-то намекал на реальность моих опасений; иначе, говорят, почему этот Краббе одному помог больше, чем остальным? Двоих я сегодня поколотил, — продолжал Сеид Омар. — Одного просто задел кофейной чашкой. А один рано вечером мне говорит, будто я сам с Краббе связался со всеми его извращениями. — Сеид Омар раздул грудь. — Я определенно ему заявил, что это не так. Он извинился, выпить предложил. А потом говорит, может, есть шанс получить место в Северо-восточной транспортной компании, если я умею водить тяжелые грузовики. Я ему говорю, — продолжал Сеид Омар, еще не расслабляя груди, — нету такой машины, которую я не умел бы водить. Вот так вот, — триумфально заключил он, — как видите, злые ветры приносят добро, если не всем, то хоть кое-кому.

Друзья какое-то время смаковали это изречение, прихлебывая апельсиновый сок. Потом тамильское бормотанье по радио смолкло, потом его тут же сменила быстрая визгливая любовная песня — барабаны, гнусавые струны, высокий женский голос.

— Выключи эту гадость! — крикнул Сеид Омар. — Мы не слышим, как пьем, не говоря уже о беседе!

— Ты мне велел включить, — напомнил Сеид Хасан, — меньше минуты назад.

— А теперь говорю, выключи! — кричал Сеид Омар. — Не спорь, парень!

— Лучше б сначала подумал как следует, — мрачно буркнул сын.

— Что такое? — переспросил Сеид Омар, приподнявшись. — Что ты сказал? Слышите, — он обратился к друзьям, — слышите, как он отвечает. Испортил я это отродье своей добротой. Слишком много доброты, единственный недостаток, в котором могу себя обвинить. — И сел, симулируя человека, разбитого артритом.

Друзья зацокали языками, приговаривая:

— Ничего, не стоит так к этому относиться, нечего себя винить, молодое поколение всегда одинаковое, никакой благодарности.

Сеид Хасан злобно прибавил громкость до максимума, отчего высокий голос разбух, вскоре окрасился треском волн, наполнил комнату, заставив стаканы и несколько дешевых побрякушек звенеть и дребезжать. Раздались вопли и громкие крики протеста всех присутствующих. Сеид Хасан с кислой физиономией, выпятив челюсть, подчинился отцовскому крику, болезненная музыка умолкла диминуэндо, щелкнула, выключилась.

— Пойди сюда, парень!

— Я устал, заболел, — крикнул Сеид Хасан. — Всегда все на меня!

— Правильно. Ты меня перед всем городом опозорил. Теперь позоришь перед гостями и друзьями. Как ты смеешь. Как смеешь. — Сеид Омар засучил правый рукав рубашки, обнажив толстую мускулистую руку.

Друзья демонстрировали смущение, уговаривая:

— Нет, нет, пожалуйста, не надо. В любом случае, мы уже уходим.

— Нет, — возразил Сеид Омар. — Он считает себя таким взрослым мужчиной, презирает отца, презирает закон и порядок, раболепствует, прося помощи белого человека. Закон, помоги мне Бог, помоги Бог его бедным матерям, братьям и сестрам, накажет его в свое время, но у меня тоже есть свои права. Я не стану позориться перед друзьями. Иди сюда, парень.

Утешители уходили, шаркая сандалиями на ступенях хозяина дома,

перепутав их в спешке:

— Извини, кажется, это твои, видно, ты мои надел, правильно, вот эти, спасибо, — и прочее.

Сеид Омар тем временем готовил правую руку, уговаривал их остаться, присутствовать при акте справедливого наказания. Но они, кланяясь со сложенными руками, с улыбками, неловко убирались, спускались в темноту. Сеид Омар, нисколько не смягчившись, обернулся к сыну, приказал:

— Сейчас же.

— Лучше бы, — сказал Сеид Хасан, прижавшись спиной к стене с радио, — лучше б меня тут не было. Лучше бы я сидел взаперти с остальными.

— Повтори! Повтори еще раз! — Женщины тоже ошеломленно забормотали.

— Лучше бы я был там. Ты на меня без конца не кидался бы. Знаю, что ты думаешь, знаю, что ты этим самым друзьям своим наговорил.

— Поосторожнее, парень. — Большая плоская ладонь замахнулась.

— Ладно, бей, не возражаю.

— Возразишь, парень, возразишь! — В этот миг чи Маймуна, по всей очевидности мать Сеида Хасана, вклинилась между противниками, моля о мире.

— Бог весть, скоро слез хватит. А теперь успокойтесь-ка оба.

— Держись подальше, женщина. Я отец, это мое дело.

— Сядь, — приказала Маймуна.

Зейнаб, другая жена, добавила:

— Сядьте, сядьте, оба как дети малые.

Мужчины, надувшись, послушались, но Сеид Омар, не желая видеть, как столько почти отснятых футов хорошей сильной драмы летят на пол в монтажной, отчаянно крикнул:

— Погублен, погублен, погублен, — и рухнул в кресло.

— Ох, заткнись, — пробормотал его сын.

— Слышали? Слышали? — радостно воскликнул Сеид Омар. — Вы меня просите сесть, успокоиться, глупые женщины? Желаете, чтобы вашего мужа оскорблял его собственный сын, в его собственном доме? Богом клянусь, задушу его собственными руками. — И, вскочив на ноги, как обезьяна или медведь, ринулся на своего непослушного парня. Сеид Хасан выставил кулаки.

— С отцом драться, да? — Сеид Омар нанес неумелый удар, другой. Сеид Хасан ловко увернулся, толстый кулак отца врезался в стену, не

сильно, но вполне достаточно для религиозных болезненных яростных криков.

— Отойди, — предупреждал Сеид Хасан, — отойди, отойди. — Он был загнан в угол между радио и шатким шкафчиком с голубой посудой. Почти прямо над ним висел плакат: премьер-министр с любящими, обтянутыми шелком руками и с лозунгом «Мир».

— Пойди сюда, получи наказание, — велел Сеид Омар. — Иди, прими побои.

— Нет! Нет! — Когда запыхавшаяся туша отца приблизилась, Сеид Хасан пригнул голову и боднул. Большой беды не причинил: Сеид Омар чуть не потерял равновесие, спасся, схватившись за шкафчик; на пол выкатилась только одна голубая тарелка, и не разбилась. Но Сеид Хасан уже стоял посреди комнаты и кричал: — Я ухожу! Уезжаю! Вы больше меня никогда не увидите!

Его сразу горячо приперчили по-малайски, змеями обвили женские руки. Отец почему-то энергично обратился к нему по-английски:

— Не валяй дурака, черт возьми! Сбежишь под залогом, будут крупные неприятности!

— Ухожу, — сказал Сеид Хасан по-малайски. — Сей момент ухожу, — сказал он по-английски. Вырвался из лиан коричневой плоти, в несколько прыжков добрался до двери. Там перед уходом помедлил, ожидая какой-нибудь потрясающей реплики на уход, но ничего не последовало. Драматический инстинкт отца и сына превышал их драматические таланты. Сеид Хасан сказал по-малайски:

— Вы все мою жизнь погубили! Помилуй вас Бог! — И прыжком слетел с лестницы в ночь. Заторопился по мокрой дорожке, добежал до дороги, огромными шагами направился к дому Краббе. Удостоверившись, что никто не преследует, замедлил шаг, утирая пот с лица, с шеи, с груди грязным большим носовым платком.

В городе сиял резкий свет, кругом утешительно пела громкая музыка. Его холодило незнакомое чувство свободы, согревала уверенность в помощи Краббе, который поможет сбежать, охотно (мужчина богатый) простится с залогом, безотказно раздобудет автомобили, грузовики, выяснит железнодорожное расписание, изобретет маскировку. Дело известное, описано в исторических книжках. А если Краббе промедлит с помощью, всегда есть шантаж. Понравится Краббе, если о его педерастии сообщат в Куала-Лумпур? Не понравится, правда? Хотя, в сущности, Краббе отнесся к Сеиду Хасану по-дружески, всегда рад помочь, зная, что для исполнения этого долга проехал восемь тысяч миль.

Свернув на шоссе, где стояли учительские дома, Сеид Хасан с удивлением встретил Роберта Лоо: в любом случае удивился, встретив его в такой час. Ему надо сидеть в папином заведении, наслаждаться богатой музыкой автомата, проставлять на товарах цены. В конце шоссе за углом стоял дом Краббе. Роберт Лоо несомненно был там. Каум наби Лот: племя пророка Лота. Сеид Хасан смаковал эту фразу губами, думая о Содоме, его разрушении, о соляной жене пророка.

— Привет, — сказал он. — Ты, да?

— Да, я.

— Где был? Китаец помедлил.

— Ходил к мистеру Краббе. А его нет. Поэтому иду домой.

Сеид Хасан презрительно улыбнулся.

— Я, — похвастался он, — из дома ушел. — Роберт Лоо с интересом взглянул на него. Юноши, коричневый и желтый, стояли лицом друг к другу на перекрестке под мутным уличным фонарем. — Стало быть, Краббе нету, — молвил Сеид Хасан. — Посмотрим, посмотрим.

— Почему ты из дома ушел? — спросил Роберт Лоо.

— Отец хотел меня ударить. Только меня никто не ударит, никто, даже отец.

— Странно, — сказал Роберт Лоо. — Со мной то же самое было.

— Твой папа пытался ударить тебя?

— Он ударил меня. Перед покупателями. И я ушел. Понимаешь, моя музыка, я должен дальше писать свою музыку, — сказал Роберт Лоо с неожиданной страстью, и Сеид Хасан опять улыбнулся.

— Да ведь ты из дома не ушел. Вы, китайцы, боитесь уходить из дома, боитесь своих отцов.

— Я из дома ушел, — объяснил Роберт Лоо, — но опять возвращаюсь. Может быть, только на ночь. Ну, на две. Понимаешь, мне надо подумать, многое надо обдумать.

— А он тебя снова побьет. Будет бить, пока не завопишь, до посинения, до смерти, — с удовлетворением высказался Сеид Хасан. — А меня никто не побьет.

— Вой там, — сказал Роберт Лоо, — лавчонка. Есть кофе, апельсиновый сок. Может, лучше туда пойдем, поговорим.

— Поговорим, — передразнил Сеид Хасан. — Разговоров всегда мало. Мой отец только и делает, что говорит, говорит, говорит. Да, — решил он, — выпьем кофе. Если заплатишь.

— Заплачу.

Сеид Хасан как-то устыдился своей резкости, грубости, хвастовства.

— Я просто хотел сказать, — сказал он, — у меня денег нету. Только это и хотел сказать.

— Хорошо. У меня есть два доллара.

— Очень любезно с твоей стороны, — с чопорной куртуазностью сказал Сеид Хасан. — Спасибо.

— Пожалуйста.

Они почти склонились друг к другу над ветхой стойкой, освещенной керосиновой лампой; над ее битыми чашками председательствовал тощий тамил.

— Трудно такое сказать по-малайски, — признал Роберт Лоо. — По-китайски тоже. — Причмокнул над дымившейся кофейной чашкой. — Что-то британцы с собой принесли. Вместе со своим языком. — Бровь его под керосиновой лампой изобразила вопрос. — Любовь, — вымолвил он. — Знаешь такое слово? Любовь, любовь. Ай лав ю. Мы говорим на языке мандаринов «во ай ни». Только это не одно и то же.

— Знаю, — сказал Сеид Хасан. — Ай лав ю. Так в кино говорят. Потом целуются. — Он воспользовался английским словом; малайское «чьюм» означало, что в лицо возлюбленной тычутся носом, это не одно и то же, несмотря на словари.

— Я влюблен, — по-английски сказал Роберт Лоо, выкрикнул, должен был кому-то сказать. — Понимаешь, поэтому должен вернуться домой. Я влюблен. Все... — И умолк, выбирая в уме между малайским и английским: в руки пало английское слово. — ...ощущается по-другому. Если отец меня снова ударит, даже это будет ощущаться иначе. У кофе сейчас другой вкус, чем у любого кофе, который я пробовал раньше.

— Кофе не очень хороший, — заметил Сеид Хасан.

— Да я не про то, — сказал Роберт Лоо. — Мир другой. Трудно объяснить...

— Влюблен, — повторил Сеид Хасан. — В кого влюблен?

— Не могу сказать, — вспыхнул Роберт Лоо. — Секрет.

— И...

— Да, да. Никогда не знал, что так будет. Все другое. Я себя чувствую старше...

Он себя старше чувствовал. Сеид Хасан позавидовал. У него еще не было подобного опыта; обидно, что все это очень типично: китайцы опережают малайцев даже в таком конкретном деле. Но в процессе формулировки обиженных слов вспомнил своего отца. Раса, раса, раса — тема отцовских застольных бесед. Тамилы ему то-то сделали, сикхи то-то сделали, китайцы — неверные любители свинины; что касается англичан...

— Она китаянка? — любопытствовал он.

— Нет, — сказал Роберт Лоо. Сказал почти со страхом, ошеломленный своей доверительностью, которой не должен был себе позволять. — Нет. Она... — И все-таки хотел, чтобы Сеид Хасан узнал, позавидовал. Только имя возлюбленной не должно вырваться в воздух, загрязненный, испорченный, рабский, в отличие от нее. «Не подставляй свое тело луне, дорогая, страшись, чтобы даже серебряные ее лучи не загрязнили его». Это откуда, где он это слышал? В каком-нибудь старом китайском стихе? Нет, наверно, пришло ниоткуда, подобно его симфоническим темам. — Она не китаянка, — сказал он, наконец. — И не малайка. Она... — Потом сообразил, что в действительности не знает, что она такое: внешний мир так мало для него значил, великие абстракции этого мира никогда полностью не регистрировались. Стараясь поместить ее в правильную графу какой-то бюрократической анкеты, вспоминал смутно только тепло, гладкость, разнообразные ароматы, — вторичные признаки, никогда не имевшие силы, — одновременно смакуя сильный привкус кофе, стараясь завершить фразу, которую силился высказать, колотя по коленям, как по огромным резиновым наковальням.

— Не важно, — сказал Сеид Хасан. — Мне и знать-то на самом деле не хочется. — Потом, с незнакомым для себя стремлением, признался: — Я на самом деле против тамиллов ничего не имею. Я хочу сказать, все это не потому, что он тамил. Мой отец дурак. Не понял, что лишился работы из-за того, что один его друг захотел свою дочь поставить на его место. Один друг, который нынче вечером был у нас дома. Чи Юсуф. По крайней мере, я так думаю. Много узнаешь, болтаясь по городу. Больше, чем в школе.

— О, — сказал Роберт Лоо, — говорят, если бы ты не сделал того самого... Я хочу сказать, малайцы не пришли бы в наше заведение и не стали бы воровать. А тогда мой отец не ударил бы меня за то, что я этого не увидел. А тогда... — А тогда, разумеется, он провел бы вечер, как всегда, углубившись в мысли о музыке, которую хотел написать, раздражаясь от взрывов музыкального автомата. Похоже, сегодня он не в состоянии закончить даже одну фразу. Странно, теперь, в тишине, вспоминавшиеся звуки музыкального автомата не казались такими ужасными. Простой чувственный эффект трубы, саксофона, что б они ни играли, был эхом, пусть даже слабым эхом, того самого возбуждения и отчаяния. Ему хотелось чувствовать вкус, обонять, слышать: чувства устрашающе оживились.

— Надо бы нам пойти в какой-нибудь дансинг, — сказал он. — Надо пойти, выпить пива, послушать музыку, посмотреть на танцующих

женщин. В конце концов, мы мужчины.

— Сейчас нет нигде ничего, — сказал Сеид Хасан. — Можно, конечно, пойти к вам в заведение. Власти парк закрыли. Больше нельзя ходить в парк.

— И денег у нас не много.

— У меня совсем нету денег.

— Наверно, лучше домой пойду, — сказал Роберт Лоо. — На самом деле отца не боюсь. Больше не боюсь.

— Отцы, — сказал Сеид Хасан. — Они на самом деле не так много знают. Глупые, как дети. Невежественные. С ними надо просто смириться.

— Тоже домой пойдешь?

Сеид Хасан скорчил гримасу, пожал плечами.

— Наверно. Мы должны помнить про свои... танггонган. Танггонган. Как это по-английски?

— Обязанности.

— Обязанности. Хорошее, длинное слово. Надо помнить про свои обязанности.

Глава 6

Неужели, изумлялся Краббе, это для него предназначено? Стихи назывались «Строки к началу среднего возраста» и были подписаны Фенеллой Краббе, хотя немыслимо, чтобы Фенелла в двадцать восемь или двадцать девять лет сочла себя особой среднего возраста, или даже, будучи женщиной, причем женщиной с хорошей внешностью, приобрела преждевременный Элиотов образ старого орла с уставшими крылами, и требовала убрать зеркала. Вдобавок тут не было никакого орлиного благородства. Это был он сам — обвисшая кожа на щеках, запыхавшаяся грудь на бегу вверх по лестнице; это был неожиданный способ прощания:

Послеполуденный час для тебя настал,
Завладел твоим телом с натужной любовной улыбкой,
Обращенной к теперешнему тебе. И сказал:
Вот твоя лысина и беззубый рот формы зыбкой...

— Валом валят, старина, — сказал мужчина напротив. — Просто валом валят. Нефтяные деньги. Одна дверь захлопывается, другие закрываются. Ха-ха. Только никому негде жить. Государственные служащие ночуют в муссонных дренажных канавах. Жены едут домой через месяц. Ха-ха. И все-таки, как раз туда надо ехать, покинув Малайю. Борнео, Борнео. Я только что оттуда. — Он высунул в проход голову. — Бой! — Без промедленья явился китаец в белой куртке. — Что есть? Пиво?

— Только не малайское пиво, — отказался Краббе. — Оно со мной больше не согласуется. Пожалуй, джин с тоником.

— Слышал? — сказал мужчина бою. — А мне пиво. Маленький «Полар».

Это ты — обвисшие щеки, мешки под глазами,
Знакомое общительное лицо,
маячащее в зеркале в дальнем зале,
Узнаваемое с потрясением, но без ошибки, —
Это тоже ты.

— Но вы должны выпить пива, — укоризненно сказал мужчина. — Таково мое правило. Продаю пиво по всему Востоку. Уже тридцать лет. Три тыщи в месяц, служебный автомобиль, везде тепло встречают, куда б ни приехал. Должны меня знать. Все знают Томми Джонса. Может, от вас избавятся, а от старика Томми никогда не избавятся.

— Нет, — сказал Краббе.

Впрочем, вторая строфа больше обнадеживала:

Юность — нож, озеро, свежий воздух, металл
и стекло;
Тело свое можно было дарить без пощады,
как взмахи меча.
Тогда было другое дело, было и прошло.
То был не ты, рубивший сплеча...

— И так всю дорогу, — сказал мужчина. — Вчера вечером мне в Анджине давали обед. Тукай всегда изо всех сил стараются для старика Томми. Как будто я им услугу оказываю, продавая товар. А позавчера в Куала-Мусанге. А сегодня в Тикусе. А завтра вечером в Уларе. Куда направляетесь?

Терпи. Надо снова учиться краткости,
Жаркая комната съежилась
в льдистой гладкости.
Лосось выпрыгивает в ее серебре,
Костлявые ступени крепки,
выдержат один шаг на ребре
Однопролетной лестницы.

— Не отвечайте, если не хотите, — обиделся мужчина. — Я просто хотел поддержать разговор, немножечко скоротать время. — Он был тощий, длиннолицый, с большой головой и седыми усами, носил неплохое брюшко.

— Извините, — сказал Краббе. — Еду в Мавас. Потом в поместье Дарьян к ленчу. Прошу прощения. Понимаете, я просто читал. Жена моя написала. Довольно неожиданно здесь это увидеть.

— Ваша жена пишет в газетах? Ну-ну. Сам я никогда не любил

мозговитых женщин. Никого не хочу обидеть. Дело вкуса.

— Эта мозговитая женщина меня не особо любила. Уехала домой, — объяснил Краббе.

Мужчина взял у Краббе газету, обращаясь с ней, точно с ковриком, пропитанным рвотой.

— Покупаете такую дребедень? У меня самого никогда нету особого времени почитать.

— Нет, — сказал Краббе. — Какой-то армейский майор поехал в Пеландок и оставил ее на скамейке. Я давно не видел газеты. Весьма прогрессивное обозрение.

— Да? — Мужчина подозрительно взглянул на Краббе. Потом небрежно посмотрел страницы. — Называется «Новый пресвитер», — заметил он. — А тут мелкими буквами сказано: «Бывший «Старый священник». Чертовски дурацкое для газеты название.

— Как бы кафедра проповедника, — пояснил Краббе. — Сообщает нам, чему верить. Есть даже как бы юмористическая колонка. Вон там, рядом со стихами моей жены. Называется «Милый, милый Остров».

— Не вижу тут юмора никакого.

Краббе хлебнул джина с тоником. Тоник, монопольно производимый одной сингапурской фирмой, имел странный затхлый привкус, волнующе напоминавший запах старого манчестерского Фри-Трейд-Холла. Краббе услышал тяжелую медь в конце увертюры к «Тангейзеру». Его первая жена в юбке и синем джемпере стояла рядом с ним, держа партитуру. Неужели они никогда его не оставят в покое? Даже на Малайских железных дорогах, грохочущих сквозь джунгли, тут как тут. Обе.

— Никакого юмора, — сказал мужчина. — Тип один премию получил за то, что прислал сообщение про женщину, которая возлагала цветы на могилу своей собаки. Хорошее дело. Я сам обожаю собак. Вы уверены, что это юмор?

— Думаю, да, — подтвердил Краббе. — Только совсем отвыкаешь от той жизни.

— Вот именно. — Мужчина энергично, с готовностью отложил периодическое издание. Авиабумага гроыхала, как лист железа. — От жизни отвыкаешь, и делаешь чертовски хорошее дело. А там все с ума посходили. Точно. Выкладывают по четыре боба [\[22\]](#) за пачку сигарет. И два боба за джин. С трудом верится, да? А ведь это правда. У меня там сестра. Пишет время от времени. Вряд ли поверите, что за дела творятся в Англии. Я там тридцать лет не был. И провалиться мне, если вернусь. Но, — сказал он с триумфом, — вам-то придется, правда? Многих отсюда выкидывают.

Только не старика Томми. Пиво — слишком важная вещь.

— Сближает расы, — подтвердил Краббе.

— А? Что? — Мужчина слушал, прищурившись, как бы не веря своим ушам. — Повторите-ка. Умно, богом клянусь. Чертовски хорошо для рекламы. Я это запишу. — И безуспешно искал блокнот. — Ну, ладно, запомню. — И более благосклонно взглянул на Краббе. — Этим вы занимаетесь, да? Слоганами и тому подобное? Министерство информации и так далее?

— Образования, — поправил Краббе.

— Вы никогда не дадите им образования, — безапелляционно объявил мужчина, усмехаясь, глядя в пространство, удобно откинувшись. — Надо вам нефтью заняться. Там денег навалом. Хорошее дело для всех для вас, кто уезжает. Никому никакой пользы не принесли.

— Знаете, — сказал Краббе, — я вряд ли уеду. Забавно, только что вспомнил. Был один цейлонец, в Куала-Ханту, так вот он сказал, что я никогда не уеду. Сказал, кончу жизнь в омуте. Забавно. Я просто не вижу себя, сающимся на пароход. Или в самолет. Просто не вижу никакого будущего в другом месте.

— Отправитесь домой, — твердил мужчина, — бросив своих черных ублюдков, как все остальные. Дети кругом без отцов, криком кричат, просят есть.

— Вам бы надо писать для «Нового пресвитера».

— Женщины, — молвил мужчина. — Я свое взял. — И цыкнул зубом. — Но всегда был предусмотрительным. Один парнишка в бесплатной школе, в Кенчинге. С трудом верится, да?

— Нет.

— А ведь это правда. — И сонно продолжал: — Меня всегда кто-нибудь ждет. Вчера в Анджине. Сегодня в Тику се. Всегда кто-нибудь ждет старика Томми. Надеюсь, вас тоже. Знал я когда-то нескольких гадов, школьных учителей. Думают, масло у них во рту не растает. Но, куда б вы ни поехали, везде женщина, а? Правда? — Показал черные зубы, хлопнул Краббе по правому колену. — Старого черта ждет женщина.

— Возможно.

— Женщина в конце пути. Всегда женщина. Еще выпьем.

Поезд остановился в деревушке под названием Беранг-беранг. Прошел сикх, размахивая фонарем; редкие фонари освещали неизбежный пальмовый задник, босые ноги шлепали по платформе. Малайское семейство, нагруженное продуктами в картонных коробках, желторотый частный англичанин в тропическом зеленом, веселый юный китаец в

грязных белых одеждах христианского священника — все сели.

— Следующая остановка моя, — сообщил торговец пивом. — Будут на станции ждать с медным оркестром. Давно не видали старика Томми. На угощение не поскупятся. Эй, — вдруг сказал он, тыча пальцем в Краббе. — Эй, вы. Не знаю, как вас звать.

— Да? — откликнулся Краббе.

— Давайте со мной. Не торопитесь?

— Я должен ехать в Мавас.

— Утром можете по дороге доехать до Маваса. Я-то знаю. Поверьте старику Томми. Знаю этот район как свои пять пальцев. Что у вас за дела в Мавасе?

— Человека убили. Террористы, наверно.

— Ох, ну, это ерунда. Ничего вы не сделаете. Нынче такого полно. Давайте, познакомитесь кое с какими приятелями старика Томми.

На Краббе внезапно нахлынуло облегчение, словно вода из душа. Он понял, что по каким-то причинам хочет отложить приезд в поместье Дарьян, и гадал почему. Дело не в трупе, который не похоронен. Не в необходимости принести официальные соболезнования родным, пообещать официальную помощь. Не в перспективе встречи с управляющим, трясущимся от виски, производя неприятное впечатление, которое придется скрывать. Не в мысли о неплохой возможности самому быть подстреленным, выйдя за шеренги долбильщиков и за здание школы. Это было нечто невидимое, неведомое и гораздо более основательное. И почему-то он понял это, читая стих Фенеллы в «Новом пресвитере».

— Да, — сказал он. — Большое спасибо. С удовольствием.

— Насчет ночевки никаких проблем, — заверил мужчина. — То есть, если спать будем, — подмигнул он. — Вас отлично устроят. Все сделают для приятеля Томми.

Тикус был маленьким городком с пальмовой лачугой аттап вместо вокзала. Но недолго ему оставаться маленьким городком (олово — деньги), о чем свидетельствовали плотные талии, плотоядные смешки, чистые белые брюки двух державших магазины китайцев, пришедших встречать доброго старину Томми.

— Что я вам говорил, — триумфально бросил он Краббе, — а? Медный оркестр и все прочее, правда? — И правда, мальчонка-сикх с пучком волос на голове, которому отец, начальник станции, поручил собирать билеты, сидел на платформе, дуя в губную гармошку. — Это, — сказал Томми тукаям, — мистер... э-э-э... Не знаю, как вас звать, — обратился он к Краббе. Китайцы приветственно похлопали Краббе по

спине. Любой друг старика Томми — их друг. Они не говорили по-английски. Из преуспевающих животов чирикал чудовищно павший базарный малайский, пока все вчетвером шагали к поджидавшему «хиллмену», а Томми расспрашивал про старика такого-то и такого-то, и про старика такого-то и такого-то, не видел чертей столько лет.

— Старый черт! — взревел один из тукаев.

— Сам старый черт. Что ты для нас припас, а? Собрал девчонок-танцовщиц!

Ехали по главной улице под натриевым светом к грязному заведению, битком набитому сверкающими рефрижераторами, магнитофонами, подвесными лодочными моторами («Зачем, — удивлялся Краббе, — ведь реки нигде поблизости нету?») и бренди. Девушка-китаянка в пижаме, неся суповую чашку, возглавила шествие вверх по лестнице. Добрый старина Томми, идя прямо за ней в качестве почетного гостя, издал сквозь зубы резкий свист, сделал старый римский жест, жизнерадостно ткнув двумя расставленными задубевшими пальцами в ее правую ягодицу. Тукай загоготали, девушка обернулась на верхней ступеньке, протестуяще вскрикнула и кратко окрестила Томми горячей каплей из чашки. На его лысую голову упало несколько пластинок акульского плавника.

— Высоко ставит старика Томми, — воскликнул он. — Ха-ха. Моя девочка.

Два старца, усохшие реликты старого Китая, приветствовали Томми робким смехом, серьезно обменялись рукопожатиями с Краббе. Вшестером уселись за стол; ноги севшего на стул Краббе громко стукнулись об спрятанную плевательницу.

— Ха-ха, — прокричал Томми. — Урыльник не опрокинь. — Он всем распоряжался, жизнь и душа, причмокивая над супом, требуя больше соуса чили, торопя хозяев выпить бренди под устрашающий китайский тост: «Ям сень!»

— Ям сень!

— Ям сень!

Опрокинули бренди, чисто по полстакана, откупорили еще бутылки.

— Ты, — обратился Томми к Краббе. — Не знаю, как тебя звать. Знаешь, на самом деле не надо бы это пить. Хорошо тебе, ты перед фирмой ответственности не несешь, а я всегда при исполнении, всегда при исполнении. Надо бы пива. Да ладно, — добавил он, — всегда есть еще завтра. Ям сень!

— Ям сень!

За рыбным блюдом — что-то вроде рыбы-соль, изысканно сдобренной

непонятным соусом, с гарниром из местных корешков и фруктов, — Томми стал сентиментальным.

— Чертовски хорошая фирма, — заявил он. — Всегда заботится о старике Томми, сразу распознает хорошего человека, с первого взгляда. Я жизнь свою отдал этой фирме. И она это знает. Никогда ее не подводил. И она никогда меня не подводила. Эй, гордячка, — бросил он бойкой накрашенной прислуживавшей девчонке, — иди посиди на коленках у старика Томми. — Но время для развлечений еще не пришло. Им еще предстояло есть кисло-сладкую свинину, волшебной нежности утку, креветок и фаршированную тыкву, личи в ледяной воде.

— Ям сень!

— Ям сень!

Одна из двух прислуживавших девушек, собирая со стола палочки для еды и грязные тарелки, что-то пропела Краббе. Тукай улыбались, слушали. Старина Томми попробовал подпевать, но ему шикнули.

— По-еврейски хотят, — сказал он. — Ну и ладно. — Мелодия была пентатонической, строгой, тонкой, как девичье тело, явно эротической, но эротику сдерживала и охлаждала простая чистая мелодическая линия. «Они цивилизованы, — думал Краббе. — Цивилизованы, невзирая на грязные потолки, на разбухшие окурки в ведре с водой». И чувствовал сквозь бренди, что это, возможно, единственная на свете страна для мужчины, которого интересует история. Какой немыслимый головокружительный сплав культур: исламские тексты ползут по Великой стене, двенадцатиногий бог смотрит сверху вниз с косоглазым нахмуренным благоволением.

— Необычайное смешение культур, — сказал он старику Томми.

— Я и сам так всегда говорю, старина. — Томми громко рыгнул. — Очень даже удачно. — Девушка, окрестившая его на лестнице, села теперь к нему на колено, непрестанно жуя жвачку. — Правильно, — одобрил он. — Иди к папочке. — Погладил ее тонкую ногу. — Все равно что с велосипеда лечь в постель.

И у Краббе появилась теперь собственная, легкая, словно перышко, щебечущая ноша. Желание к китайкам почти не возникало: даже на самом низком общественном уровне они были произведениями искусства, практически не пробуждая кинетических эмоций.

— Произведения искусства, — сказал он. — Парень прекрасный музыкант. Великолепный, великолепный. А кто для него что-нибудь сделает? Ты же не сделаешь, правда, несмотря на все свои громкие речи?

— Пиво, пиво, славное пиво, — запел Томми. — Наливайтесь прямо

по горлышко. — Теперь он исполнял обязанности, делал свое дело. Шесть огромных бутылок одной гонконгской пивоварни были принесены, чтобы смыть бренди, рисовые крошки, ми, мясные волокна, застрявшие в коренных зубах. — Пиво, — крикнул Томми. — Как ты про него сказал? Международное чего-то там такое. Надо было записать. — Девушка, тоже делая свое дело, промокнула пену у него на губах бумажной салфеткой.

— Сближает народы, — сказал Краббе. — Как музыка. А вам плевать, черт возьми. А еще Розмари. И Вайтилингам. И старина Сеид Омар. Кто для них что-нибудь сделает после моего отъезда? — Девушка обняла его, пригладила волосы на затылке прохладной рукой. Тукай не обращали внимания. Сидели спокойно, любопытствуя, слабо улыбаясь, радуясь, что гости хорошо проводят время. Они тоже исполняли свои обязанности, деликатно перепоручая их теперь своим заместительницам на долгую ночь.

— Пиво тепловатое, — заметил Томми. — А должно быть холодное. Запомните. — И, отбивая такт запятым указательным пальцем, с изысканным произношением процитировал слоган: — «Теплое пиво при зное — просто помой». — Выпил полных шесть дюймов и опять вытер рот. — Да все равно вкусно. Знал я одного парня, — рассказывал он, — крупный тип, почти семи футов ростом, терпеть не мог холодное. Держал в горячей ручище. Нагревалось адски. Ему так нравилось. Звали его Нэбби Адаме. Из полиции. Вы его не знаете.

Все тукай поднялись, как один, готовые уйти, зная, что гости в хороших руках.

— Утром, — сказал Томми. — О делах утром поговорим.

— Терима касен, — сказал Краббе, выставив растопыренные пальцы. — Съе, съе, тукай. Вань ань.

— Язык немножечко знаешь, да? — позавидовал Томми. — Я не такой умный.

— Пиво, — провозгласил Краббе со слишком старательной артикуляцией, — само по себе язык.

— Богом клянусь, хорошо. Записать надо. — Но голова Томми упала на худенькое плечо терпеливой девушки, сидевшей у него на коленях. — Готов лечь. Веди меня домой, любовь моя. — Тукай благосклонно махнули на дверь.

Девушку Краббе звали Чин-чин; имя звучало фривольно, но означало истину. Ведомый рукой Истины, он следовал за Томми — при полногласной песне под луной — по пустой улице. Девушка Томми хихикала, держа его за руку, оглядываясь на китайское щебетанье подружки и коллеги.

— Куда? — спросил Краббе. — Куда мы идем?

— Сини, сини. — Это был приземистый с виду дом с меблированными комнатами, вереницей лестниц, с запахом куркумы и аниса. Вдалеке, далеко впереди пел Томми, все еще исполняя обязанности, рекламируя спящему городку эйфорию в бутылках.

Комната у Чин-чин была маленькая, без вентилятора, с кроватью, буфетом, фотографиями китайских кинозвезд с кавказскими чертами, пропахшая висевшей взаперти одеждой. Белья на ней не было, она разделась, прежде чем Краббе снял галстук. Он стоял, смотрел, гадал, бросил в уме монетку. Вышло «нет».

— Нет, — сказал Краббе. — Спасибо, но нет.

— Не нравится?

— О, нравится. Только не сейчас. В другой раз. Сейчас спать.

Она скорчила гримасу, обернула тело простыней, легла лицом вниз на постель, разметав руки и ноги, как звезда-рыба. И через две минуты заснула. Краббе отыскал подушку, устроился в пыли на деревянном полу. Перед тем как заснуть, смутно подумал, что тело надо держать в чистоте для того самого затаившегося в ближайшем будущем события, и ощутил усталое удовлетворение оттого, что успешно отсрочил его, пусть даже всего на несколько часов.

Когда Роберт Лоо ушел, Розмари какое-то время тихо лежала во тьме, без особенных мыслей, без особенных чувств, почти онемев телом. Комнату время от времени кратко простреливали серебром автомобильные фары, потом на мгновение она оказалась на башне, высоко над всем, а вокруг играли ищущие лучи. Машины ехали к дому мистера Годсэйва, где, видно, была вечеринка, наверно, прощальная вечеринка мистера Годсэйва, последнего белого мужчины в полицейском департаменте. Слышались далекие пьяные голоса; казалось, порой они говорят про нее.

— Где старушка Розмари?

— Йо-хо-хо-о-о-о! Сунь ей палку!

— Троянская лошадь, где переночевали пятьдесят героев.

— Розмари, милая, — запел кто-то. — Розмари, дорогая. Розмари, та-та-та-та...

Один голос был голосом Джо.

— Потом я сунул туда руку, сделал то-то и то-то, потом я... — А потом громкий рев пьяного смеха. А потом визг тормозов, рев вновь прибывавших автомобилей.

— Потрясающая была девка в своем роде, знаешь.

— Я бы сказал, всегда готова.

— Я имею в виду, нам повезло ее здесь отыскать, разве нет?

— Ох, боже, да, как подумаешь про пятидолларовых шлюх в парке, да про чертовых китайских нищенков: дай, дай, дай.

— Но на время всего пребывания чуточку слишком. Я имею в виду, на год неплохо, или вроде того. Но не на три, нет, нет, нет.

— Скажем, полгода.

— О да, полгода отлично. А потом, через какое-то время, еще немножечко.

— Но на все время...

— Ох, боже, на все время...

Розмари вылезла из постели, и голоса слились в бессловесный шум веселого пьянства. Прошлепала в ванную Краббе, включила свет, увидела себя в широком зеркале: волосы Медузы, распухшие от плача глаза, размазанная от неумелых поцелуев китайского мальчишки помада, лакированная коричневая роскошь верхней части тела. Задохнулась под холодной струей душа, мылась и мылась с мылом, вот так и вот так. Вычистила зубы зубной щеткой Краббе, причесалась щетками Краббе, надела шелковую пижамную пару Краббе. А в голове по-прежнему не было ни одной мысли. Она сморкалась и сморкалась, точно при простуде, и, заглянув в ящик тумбочки Краббе, нашла не только чистые платки, но и пачку писем. Почти все они пахли старостью, сыростью, как наполовину съеденное яблоко; она заметила даты из другой эпохи. «Мой самый дорогой Вик». «Дорогой Виктор». «Милый». Люблю, люблю, люблю. Прочитала шесть-семь, все так же сморкаясь. Дело было в том, что Краббе уехал от этой женщины работать в каком-то колледже, туда, где не было жилищных условий для женатых пар, а она, хотя он и уехал, все время о нем думала, по ночам очень сильно скучала. Розмари увидела в зеркале собственный рот, начинавший кривиться, и перед ней промелькнуло быстрое видение каменных масок, которые она видела над просцениумом в ливерпульском театре. Вой раздался откуда-то издалека, вой бродячей собаки. Розмари отказалась от плача — наплакалась. Очень громко, тягуче лились пьяные голоса. Ей не удавалось расшифровать подпись под письмами: Мэл, Мэй, Майя, что-то вроде. И она посылала такие любовные письма, только Джо не хранит их в ящике для носовых платков, если у него есть ящик для носовых платков. Он их показывает своей английской подружке, и они хохочут над ними или издают завистливое похотливое зулусское чмокание.

— Расколоти чего-нибудь.

— Разозлим их как следует, а?

— У-у-у-у-у-у!

Но это где-то выла собака. Розмари вспомнила своих кошек: оставила их без еды, они от нее зависят, по сегодня она слишком устала для исполнения обязанностей. Завтра в школу не пойдет, заболит. Останется сегодня у Краббе; кошки не умрут: днем съели три банки сардин. Ама вернется, даст им молока. Минуту сентиментально думала про своих кошек: ничего не обещают, ничего не дают, все принимают, не притворяются, будто любят. Символ дома: кошка у огня, на улице клубится туман, по телевизору только что началась программа.

— О-джо-джо-джо, — выла бродячая собака.

Розмари босиком шелково прошелестела по коридору. Гостиную едва освещала единственная настенная лампа. Она все повключала, в том числе лампы в обеденной нише, остановилась у входа на кухню и крикнула:

— Бой! — Ответа не было: только ворочанье и дребезжание, будто кто-то поворачивался на кровати. — Бой! Бой! Бой! — Никто не ответил, никто не пришел. Розмари повернулась спиной к большой светлой комнате, налила себе бренди. Пошла за водой к холодильнику, и стуку тяжелой открывшейся белой дверцы удалось сделать то, чего ее зов не добился. Явился повар в пиджаке и в трусах, забеспокоившись о сохранности приготовленной еды, поставленной в урчащий холод: обед или ленч Краббе на завтра, или когда он там вернется. — Вот ты где, — сказала Розмари. — Я есть хочу.

— А? — Этим звуком Господь наградил только китайцев низшего класса: гортанный, короткий, громкий, вопросительный, неодобрительный, недоверчивый, дерзкий.

— Макан, макан. Сайя мау макан, — прокричала Розмари. — Это что? — И выхватила из холодильника блюдо с холодным кэрри. Повар тоже попытался его схватить, они секунду боролись, причем Розмари почему-то не видела тут ничего неприличного. — Разогрей, — приказала она, выпустив блюдо, — и сделай чапатти.

— А?

— Чапатти, чапатти. Не знаешь, что такое чапатти? Все вы, китайцы, объявляете себя поварами... Ну, где мука?

Но повар увидел на столе у холодильника стакан с бренди, ждавший воды. Оживился, зашумел, сбегал в гостиную, вернулся с почти пустой бутылкой. Заскулил, запричитал, чуть не плакал.

— Ладно, — сказала Розмари, — я скажу туану, что сама выпила. А ты лучше давай, делай чапатти.

— А?

— Если не примешься разогревать кэрри, — громко растолковывала Розмари, — я скажу, это ты выпил бренди. Прикончу бутылку и скажу, ты все выпил.

Повар взялся за дело. Розмари села в кресло и включила радио. Шла какая-то пьеса, какая-то глупая лондонская постановка на зарубежном канале Би-би-си.

«— ...Послушай соловья, похоже на очень умелую имитацию соловья.

— На граммофонную запись соловья.

— Все это уже было, ничего нового. Луна над головой, яркая до смешного...

— Вульгарно полная.

— Ночные запахи, горделивые ароматы, какие может купить любая шлюха с Пикадилли. (При упоминании Пикадилли рот Розмари стал плаксиво кривиться.) Но знаешь...

— Что? Что знаю?

— Новых слов тоже нет. Господи, я не боюсь быть вульгарным. Не стыжусь старых-старых клише. Знаешь, правда, Розмари? Знаешь, что я...

— Наверно, знаю, Арнольд, по-моему, я всегда знала...

— Милая...»

Услышав собственное имя, Розмари вскочила в ошеломлении, в злобе, готовая причинить вред издевавшемуся аппарату. Вместо этого заревела, выключила, слыша в замиравшем голосе Арнольда изысканный сценический голос Лим Чень По из Пинанга.

— Ох, Виктор, Виктор, — всхлипывала она. — Где вы? Я стала бы вам хорошей женой, Виктор. — Из кухни доносился громкий шум жарки, слезы брызгали горячим жиром. Она села, рыдая, — как-то театрально теперь, — прочитала литанию из имен, способных ее утешить, взяла себя в руки, сказала: — Не плачь больше, милая. Теперь плохие времена миновали. — В перечне имен отсутствовали некоторые имена: Джо, Роберт Лоо, Джалиль. А одно, как ни странно, присутствовало:

— Вай, Вай, о, Вай. Ох, зачем я вас так обидела?

К чему называть имя Роберта Лоо? Он представляет чисто исторический интерес: о нем не прочтешь ни в одной антологии. Поэма о нем скучна, чересчур коротка, несдержанна, фактически невнятна, к ней нельзя относиться серьезно и даже читать; простое звено в долгом эволюционном процессе: Бейл разбил интермедию на акты; Суррей впервые стал писать белым стихом; Уайет первым ввел сонет, — позабытые повара великого мира, вытиравшие стол, чистившие картошку, шелушившие лук, рубившие мясо для великого повара,

явившегося вскоре из Стратфорда. Холодный, любезный, утонченный оксфорддец из Пинанга открыл доступ Азии, а время и горе вручили ключ безобидному скучному китайскому мальчишке, мальчишке, который хотя бы выразил чрезвычайную признательность, а не просто зевнул и сказал: «Выкурим по сигаретке».

Пришел повар, подобострастно доложил:

— Макан суда съяп.

Розмари села за стол, хозяйкой в пустом доме, положила себе на тарелку кэрри. Чапатти вышли бледными (дома всегда золотистые), толстыми (дома всегда очень легкие). Но она отрывала большие куски, макала в огненный соус, жевала с аппетитом, не обращая внимания на ядовитые капли, пачкавшие рукав пижамы Краббе. Заворачивала, как в пакет, куски свинины, картошку, быстро отправляла в рот. Захватывала перчаткой из чапатти большие куски рыбы. Велела дать воды, нет, не воды, а пива.

— Пива! — крикнула она. Повар заколебался. — Бренди, — пригрозила Розмари. Было принесено пиво.

Она съела четыре чапатти, половину рыбы, всю баранину, почти весь соус, почти все самбалы из дробленого кокосового ореха, крутые яйца, почти весь чатни, бананы, красную капусту. А допивая пиво, вспомнила то, насчет чего давно убедила себя, будто этого не было. В шестнадцать лет, на первой начальной стадии своей красоты, она обедала с тем самым мужчиной в Куала-Ханту. Кэрри с чапатти на Сату-роуд, а потом, с чили в крови, они в конце концов отправились не в кино, а к нему на квартиру близ Букит-Чандан. И он?

— Черный, как туз пик, — громко, удивленно сказала Розмари. — Нет, я не могла. Этого никогда не было.

Впрочем, на самом деле он был симпатичный. Учился на инженерных курсах в Брайтоне. Быстро водил свой белый «ягуар». Божественно танцевал. Где он теперь? Как его звали? Сундралингам? Махалингам? «Сундра» значит прекрасный, «маха» — великий. Имена, которые она толковала теперь слишком буквально, подходили, вполне подходили. В кульминационный момент говорили они по-тамилски, быстрым, искренне чувственным бормотанием.

— Он был холодный, — вслух сказала Розмари, — холодный, как вот эта рыба. — Теперь она думала про кого-то еще, про кого-то в Восточном Кенсингтоне январским утром. — А еще Джо, — добавила она, — правда. — Вновь попробовала заплакать, но слишком наелась для плача. Поковыряла в зубах спичкой из коробка на столике сбоку. Потребовала

кофе. После определенных споров, прекращенных упоминанием о бренди, кофе был сварен и принесен.

Пока со стола убиралось, Розмари развалилась на диване, потягивая «Куантро», глядя вдаль. Вдали, как звезды, маршировали мужчины ее жизни. Когда бой удался к себе, Розмари сказала репродукции Коро, висевшей над письменным столом Краббе:

— Фактически он вполне умный. И жутко милый. А я гадко с ним обошлась. А он это плохо воспринял. Бедный, бедный мальчик. Я столько могла для него сделать.

Вскоре она лежала в постели, удобно, с сигаретой в губах, заложив руки за голову, под жужжавшим вентилятором у кровати.

— Я рада, что отказала Джо, — объявила она. — Говорила, ничего не выйдет. Он настаивал и настаивал. Теперь бросился в чьи-то объятия по примеру всех прочих. Женится с горя. И все время, что с ней, думает обо мне, понимает, это не одно и то же, даже близко. Но я ему сказала, ничего не выйдет. Ни квалификации, ни амбиций, ни денег, ни перспектив. А у меня все есть. — И глубже нырнула в постель, в шелку на чистом гладком теле. — А речь у него какая плохая. Без конца говорит «ихний». А только подумать о детях, о евразийских детях. Мне лицо свое стыдно было бы показать.

Перевернувшись на правый бок, увидела на полу почти незаметное под столиком у кровати скомканное голубое авиаписьмо, полученное сегодня. В том письме говорилось, что Джо вынужден броситься в объятия другой женщины, жизнь невыносима, но он теперь понял, что Розмари никогда не передумает. Прощай, о жестокая. Она слезла с кровати, подобрала письмо, еще больше скомкала, пошла с ним в уборную, бросила и смыла водой. Слова с криком ушли в городскую канализацию, в море. Бедный Джо. Розмари вернулась в постель и заснула.

Роберт Лоо не мог заснуть. От волнения руки и ноги плясали под тонкой простыней. Он до последнего такта протанцевал Второй Бранденбургский концерт, скерцо Седьмой симфонии Бетховена, прелюдию к «Мейстерзингерам», финал «Жар-птицы», фуговую увертюру Холста. Но ритмов не доставало, а то, что пелось над ритмами, не совсем соответствовало его высоконапряженному, почти лихорадочному состоянию. Все это слишком универсальное, слишком общее, слишком зрелое, слишком мало связанное с безумным потоком любви. Разве музыка когда-нибудь могла такое передать? Он мысленно слушал Вагнера, пролистывая любовные темы «Мейстерзингеров», великий дуэт из «Валькирий»; у Бетховена ничего; может, у Хуго Вольфа в какой-нибудь

песне?

Лихорадка, лихорадка. Наверно, глаза у него сверкали, когда он вошел в заведение, голова горела. Иначе зачем отцу проявлять такое внимание, а матери суетиться, отправляя его в постель с аспирином и с бренди? Впрочем, может быть, думал Роберт Лоо, дело вовсе не в том. Отец безнадежно запутался со счетами, братья еще пуще. Он, будучи музыкантом, легко играл с цифрами: может, отцу хватило этого вечера, чтоб почувствовать незаменимость сына. Хотя нет, он и раньше отсутствовал, когда Краббе отправил его в Сингапур для записи квартета. Квартет? Роберт Лоо попробовал мысленно его прослушать, но играли как бы эльфы на крошечных инструментах, невысказанно высоко, тоненько. Вся написанная до нынешнего вечера музыка, конечно, должна был незрелой, ее надо переписать, а лучше уничтожить.

Скорей всего, отца с матерью ошеломила возможность распада семьи, и его непочтительность, выбитый им кирпич, обернулась пугающей перспективой обрушения с громом и пылью целой постройки. Может быть, мать на отца накричала, поколотила, виня в тирании и эксплуатации, а отец испугался и струсил визгливой бури.

Роберт Лоо ощутил возможность диктовать теперь условия. Он потребует свободного времени — почти всю вторую половину дня и, как минимум, два вечера. От случая к случаю, в полночь закрыв заведение, скажет:

— Просто пойду повидаться с приятелем. Вернусь примерно через час.

— Очень хорошо, сынок. Бог весть, ты усердно работаешь. Заслуживаешь небольшой отдых. Денег надо тебе на расходы?

— Спасибо, отец. Думаю, у меня на все хватит. — А потом выйдет в синюю теплую ароматную ночь, к ней, она будет ждать, открыв душистые объятия, полна желания, в каком-нибудь легком халате, легко спадающем с плеч.

— Слушай, ведь тебе нужно свободное время, чтоб писать музыку.

— Музыку? Ах да. Конечно, музыку. Но я, кажется, чувствую, как рождается новый стиль, стиль моего второго периода, или, может быть, настоящего первого. Для этого нужно время.

— А какая она будет, новая музыка?

— Я еще не знаю, просто не знаю. Теплей, веселее, больше скажет сердцу, более ритмичная, мелодичная, полная танца.

— Что-нибудь вроде этого?

Собеседник Роберта Лоо, которым тоже был Роберт Лоо, выскочил в открытое окно, пролетел над улицей, включил свет высоко в комнате

напротив, включил громкую радиозапись. Роберт Лоо, лежа в постели, совсем проснулся и слушал.

В той комнате напротив над лавкой аптекаря жил толстый индус-чиновник. Виднелся его расхаживавший туда-сюда силуэт; страдая бессонницей, он что-то ел, слушал музыку. Это была какая-то современная американская танцевальная мелодия в тридцать два такта, с почти импрессионистическими гармониями, оркестровая палитра ограничена медными, язычковыми, какими-то снотворными ударными. Ни развития, ни вариаций, только ключ меняется от рефрена к рефрену.

— Нет, — сказал вслух Роберт Лоо. — Ничего подобного. — А потом свободно, без усилий, сквозь прерафаэлитские аккорды очень раннего Дебюсси, запел голос:

О, любовь, любовь, любовь,
Любовь на вершине холма,
Любовь под небом синим,
Где звезды без счета и тьма,
Любовь под мартини
В кабаре и в барах.
О, любовь, любовь, любовь...

Роберт Лоо зачарованно слушал, чуть дыша, неописуемо тронутый. О, любовь, любовь, любовь. Душа его томила, он видел себя в белом смокинге, грациозно скользящим по маленькой танцевальной площадке, с Розмари в объятиях, прелестной в чем-то тесно облегающем, без спины. Слова любви на балконе, оркестр играет вдали, под луной, колышутся пальмы. Пальмы казались какой-то экзотикой, а не обычными для его города и страны деревьями. Розмари сказала:

— Пойдем потанцуем. Прелестную мелодию играет оркестр.

Он улыбнулся, допивая мартини.

— Рад, что ты так думаешь.

— Почему? Это ты...

— Да, это я написал. Для тебя. Написал нынче утром, пока ты была на пляже. (Ах, романтика полосатых больших тентов!)

— О, вот как! А говорил, голова болит!

— Да. Сюрприз хотел сделать.

— Какой ты милый.

Да, так будет, так будет! Он уйдет с этой стадии тяжелого мастерства

контрапункта, оркестровки, развития темы, к дышащим клише духовых инструментов и голоса, — ради нее, ради нее. Раньше времени переплавит все драгоценные руды, лежащие в ожидании дальнейшей обработки, в повседневные украшения для нее.

— Значит, ты больше не возражаешь против сочинения для людей, чтоб они это слушали, даже пели? Может быть, гимн для малайских рабочих? Песня «Стремление к Счастью»?

— Нет, нет! Все, все для нее!

Он хорошо спал, а утром отец принес ему завтрак в постель: два вареных яйца, чайник с чаем. Он чересчур удивился, чтобы сказать спасибо.

— Съешь оба яйца, сынок. Яйца подкрепляют. Нельзя работать, питаясь одним воздухом.

— Да, отец.

Глава 7

Утром Краббе с Томми Джонсом встретились вполне случайно в одном китайском кедае. Где-то ниже по улице громкое радио объявило десять часов по малайскому времени, потом пошли новости веселой мандариновой песней. Выпили приторный кофе, призадумались, что можно съесть. Лавка была обшарпанной, яркой, полной полунаготы, — пиджаки и трусы, пухлые плечи, коричневые безволосые ноги, — звенела сверлящими гласными хокка, стуком деревянных подошв. Томми Джонс мрачно смотрел на туманную стеклянную витрину с выставленными пирогами первичных цветов.

— На самом деле ничего не хочу, — сказал он. — Сделал ночью чего-нибудь?

— Выспался.

— Я тебя понимаю. Не знаю, что на меня в последнее время нашло. Ничего не смог сделать. Съем кусок жареной рыбы, если она у них есть.

— С уксусом?

— Точно. — Но не шевельнулся, чтоб спросить или заказать.

— Мне надо транспорт найти до Маваса, — сказал Краббе. — Такси тут у них где-нибудь есть?

— Эй, — ухватил Томми Джонс за пиджак проходившего боя. — Пива «Полар». Большую, холодную.

— А? — Впрочем, пиво было принесено. Томми Джонс жадно глотал, проткнув банку, потом заключил: — Чуть-чуть лучше. — Утренняя пелена как бы спала с его глаз, и он сказал Краббе: — Ты побрился.

— Да. Она воды принесла в цветочной вазе.

— Ох, я попозже. Надо посмотреть здешний новый малайский магазин и заставить их регулярно заказывать. Только с некоторыми мусульманами трудновато.

— Можешь им сказать, только что обнаружено новое дополнение к Корану.

— Ну?

— Вполне разрешается пить.

— Тебе бы бизнесом заняться, — серьезно сказал Томми Джонс. — Здорово получается. Замолвлю за тебя словечко, вернувшись в Гонконг. Хотя не знаю, как тебя звать.

— Я должен добраться до Маваса, — сказал Краббе.

В этот момент к кедаю подъехал «лендровер», из крытого тела которого слышался протестующий визг и громкие утешительные слова. Выскочивший из водительской дверцы мужчина был знаком Краббе: Манипенни, заместитель Протектора аборигенов, работавший в Мавасе. Теперь он заходил в кедай; очень крупный, похожий на мальчишку, в шортах хаки, светловолосый, с безумными глазами, коричневый, почти как малаец, с пухлым детским ртом, с местными татуировками на тонкой шее.

— Вы спасли мне жизнь, — крикнул Краббе. — Еду с вами.

Манипенни уставился на Краббе, сфокусировав взгляд где-то далеко позади, как бы стараясь проникнуть в непроницаемые джунгли. Он не стал приветственно улыбаться, а просто сказал:

— А, это вы. Поможете удерживать сзади проклятую свинью.

— Свинью?

— Лесную свинью. С ней там пара темъяров. Дураки чертовы повели ее погулять на веревке и заблудились. Пол-утра потратил, искал. — Тут сзади из фургона высунулось большое рыло, маленькие умные глазки ошеломленно смотрели на улицу с велорикшами, мусорными баками, праздношатающимися в саронгах. Выскочил маленький кудрявый мужчина в желтой рубаше, в слишком больших для него штанах, явно за негодностью подаренных Манипенни, ободряюще заворковал над свиньей, демонстрируя все свои зубы в самой любовной улыбке. Подталкиваемое сзади, стало появляться огромное, щетинистое тело свиньи.

— Эй! — Еще остававшийся на ногах Манипенни закричал на неведомом языке. Темъяр выглядел оскорбленным, но принялся заталкивать свинью обратно. Манипенни уселся.

— Давно тут работаете? — спросил Томми Джонс.

— Шесть лет.

— Эти ваши ребята пиво пьют?

— Пьют все, что дают. Но долго это не продлится. Всех обратят в мусульманство при новой официальной политике. Тогда уж больше никаких прогулок со свиньями. — Краббе отчаянно старался заставить голубые, устремленные вдаль глаза вернуться домой, к себе, к столу. И спросил про убийство в поместье Дарьян.

— А, вы про это. Десятник сказал, что он спал с его женой и заказал красным его пришить. Теперь вдова спит с десятником.

— Откуда вы знаете?

— Разнеслось по бамбуковому телеграфу. Как и все прочее. — Выпить Манипенни отказался. — Надо вернуться, взглянуть, как там наш американский друг. Я только заскочил купить свинье сгущенного молока.

Краббе и Манипенни попрощались с Томми Джонсом. А когда готовились сесть в пыльный «лендровер», Томми Джонс выскочил и крикнул Краббе:

— Как это ты там сказал?

— Что сказал?

— Насчет того, что Пророк изобрел пиво?

— Нет, — сказал Краббе, — не совсем. — И предложил разнообразные иезуитские способы уговорить мусульман примирить свою суровую пустынную веру со скромными западными радостями. Он понимал, что еще не совсем протрезвел. Манипенни позаимствовал в лавке открывалку для консервных банок, и лесная свинья уже экстатически чавкала, а темьяры ее поощряли ласковым мычанием и радостным смехом.

— В Гонконге про тебя расскажу, — с признательностью посулил Томми Джонс. Манипенни нетерпеливо запустил мотор. — Эй! — крикнул Томми, когда они тронулись. — Не знаю, как тебя звать! — Краббе помахал с улыбкой тощей фигуре с брюшком, одиноко стоявшей среди малайских ребятишек и китайцев в нижнем белье; пророк безобидного утешения в жестоком мире, не слишком смешной или неблагородный. Они никогда больше не встретятся.

— Что за американец? — спросил Краббе. Он сидел рядом с Манипенни; свинью больше не требовалось удерживать: она возила рылом по липким пятнам на полу позади. Манипенни вел машину плохо, слишком быстро, резко крутил руль, яростно дергал рычаг передач. На шее у него висел темьярский амулет: камни-обереги звякали на ухабистом пути к Мавасу.

— А? Из какого-то университета. Под эгидой какой-то организации. Пытается научить темьяров азбуке. Один из авангарда.

— Из какого авангарда?

— Британцы уходят. Природа пустоты не терпит. Его зовут Темпл Хейнс.

Слева далеко внизу показалась река, серебро, от которого глазам было больно. За ней виднелись джунгли. Краббе рассмеялся, коротко всхрипнув.

— Надо отдать должное американцам. Видно, слова эти произвели сильное впечатление на Манипенни.

— Господи Иисусе, — сказал он. Вильнул к обочине, остановил «лендровер». Руки у него дрожали. — Ради бога, зачем вы это делаете?

— Что делаю?

— Смеетесь. Разве не видите бабочку?

— Какую бабочку?

— Что летает перед ветровым стеклом. А вы засмеялись при бабочке.

— Я не видел никакой бабочки. В любом случае, что тут плохого?

— Ох, боже мой. Вы нарушили табу. Наверно, не знали. Но в будущем, ради бога, осторожней. — Он сидел, тяжело дыша, Краббе не мог вымолвить ни единого слова. Воздушная фабрика насекомых стрекотала вдали. — И, — предупредил Манипенни, — если над нами сегодня гром грянет, ради всемогущего бога, не вздумайте в этот момент расчесывать волосы. Это очень серьезно. — Свинья теперь храпела самым нежным образом, стражи-темьяры ласково наблюдали за спящей. — Я медленно поеду, — сказал Манипенни. — Не хочу, чтобы что-то дурное случилось. — И они поползли дальше.

Краббе сидел неподвижно, молча, будто фотографировался, и думал: «Ох, поверит ли кто-нибудь, поверит ли кто-нибудь дома? Там просто не знают, все такие невинные, сидят в своих офисах на Флит-стрит и в Холборне».

Вскоре подъехали к окраинам Маваса. Манипенни остановился вроде бы где пришлось, в задавленном деревьями местечке, невидимом ни с одной другой точки длинных джунглей по обеим сторонам дороги. Река давно исчезла. Но из путаницы папоротников и лиан, гниющих пальмовых стволов, тихо вышли трое маленьких мужчин в набедренных повязках, вооруженных бамбуковыми трубками для стрельбы, улыбаясь, приветствуя. Манипенни коротко что-то сказал, сделал кабалистический знак. Свинью разбудили, сильно толкая, крутя за уши; она вместе с мужчинами выбралась под звяканье пустых консервных банок; мужчины уходили со смехом, махали руками. Джунгли их вмиг поглотили.

— Хорошо, — сказал Манипенни со вздохом. — Чем хотите заняться? Ленч в поместье пропустили. Прошел, — он прищурился на свои наручные часы, — час назад. Лучше переночуйте со мной. Хотя у Хейнса только одна свободная кровать. — Он запустил мотор, рванул рычаг, стиснув зубы, как бы от ненависти. — Можно жребий бросить. Один на полу будет спать.

— Я вчера ночью спал на полу.

— Ну, тогда и еще раз не будете возражать. Наш Темпл немножко больше привык к хорошей жизни.

— Симпатичный он парень?

— О да. Много говорит про фонемы, семантемы и билабиальные фрикативы. У него фургон с записывающей аппаратурой. Хороший парень.

Они въехали в Мавас, город приличных размеров для этого района хулу: широкая главная улица, несколько магазинов; чистый полицейский участок, окруженный растеньями в кадках; даже кинотеатр. Два здешних

поместья — одно выше по реке, одно ниже — могли обеспечивать себя рисом, рыбой, мясом буйволов; местные долбильщики имели возможность скромно повеселиться свободным вечером. Манипенни подъехал к деревянному барaku с табличкой «Министерство по делам аборигенов», с переводом — краской посвежее — на официальный малайский: «Педжабат Каум Лели» (буквально «министерство оригинального племени»), и едва высохшей краской на дикие клинописные символы, полностью незнакомые Краббе.

— Его алфавит, — объяснил Манипенни. — Темьярский алфавит Номер Один. Но уже готовится Номер Три. — Говорил он это с какой-то мрачной гордостью.

В прохладном кабинете сидел Темпл Хейнс. Перед ним стояли три крошечных аборигена. На стене висел большой лист глянцевой тряпичной бумаги с картинками: мужчины, женщины, дети, лошади, свиньи, дома, поезда, аэропланы, буйволы, деревья. Темпл Хейнс по очереди указывал палкой на картинки, приглашая маленьких мужчин сказать, что там изображается. Казалось, он с радостью увидел Манипенни.

— Похоже, с этим диалектом я не особо продвинулся, — сказал он. — Все время одно и то же твердят. Как бы все одинаково называют. — И прочитал какое-то безумное слово из своей записной книжки. — Вот так вот.

— Да, — кивнул Манипенни. — Это значит «картинка».

— Зачем несколько изображений одной и той же вещи? — полюбопытствовал Краббе.

— Для множественного числа, — объяснил Темпл Хейнс. И поднялся. — Кажется, я не имел удовольствия. — Манипенни признался, что позабыл имя Краббе.

— Краббе, — представился Краббе.

— Краббе, — повторил Темпл Хейнс. — В Лондоне я был знаком с Краббе. С Фенеллой Краббе, поэтессой. Родственница какая-нибудь?

— Очень дальняя жена. Скоро больше не будет женой.

— Мне искренне жаль это слышать, — сказал Темпл Хейнс. — Я очень высоко ценю ее произведения. — Трое аборигенов с упреком взглянули на Краббе снизу вверх.

Темпл Хейнс казался чистейшим пассажиром «Мейфлауэра» ^[23]: невыразительные черты лица, ясные ореховые глаза, настолько же здоровые, как глаза Манипенни безумные. Никакой стрижки ежиком: светло-каштановые образцовые волны аккуратно расчесаны на прямой пробор. Но штаны из акульей кожи сшиты по-американски, деликатно очертив круп,

когда он повернулся потушить сигарету, от которой не бывает рака. На нем была быстросохнущая кремовая рубашка, галстук-бабочка в крапинку. На спинке стула висел пиджак.

— Думаю, все на сегодня, — сказал он Манипенни. — Можно на два их снова позвать? — Манипенни выкашлял отпущение. Трое маленьких мужчин неопределенно выразили почтение и зашаркали прочь.

— Где мой клерк? — спросил Манипенни. — Письма надо написать.

— Ушел, — сказал Хейнс. — Около часа назад. Очень любезно оставил мне кабинет.

— Если хотите съесть ленч, — сказал Манипенни, — можете получить у Ань Сю-чжу. Я на ленч никогда не хожу. — Взглянул на обоих безумным взглядом и сел за свой письменный стол.

Хейнс с Краббе вышли на жаркую улицу.

— Я дома в журнале читал одну ее вещь, — сказал Хейнс. — Длинные стихи о Малайе. По-моему, очень впечатляющие.

— Никогда не читал, — сказал Краббе. — Даже не знал про них.

— Правда? — Хейнс быстро взглянул на Краббе с искренним сдержанным недоверием. — У нас был краткий курс в Англо-американском обществе Юго-Восточной Азии в Лондоне. Очень полезный курс, дает общее представление. Она прочитала две лекции. Приходила с довольно видным малайцем, имя которого я позабыл.

— Зато я не забыл, — сказал Краббе, думая: «Так или иначе, что она о Малайе знает, черт побери?» — Без сомнения, его высочество Абан Даханский.

Слыша хрипоту в голосе Краббе, Хейнс снова взглянул на него со сдержанным любопытством.

— В любом случае, — сказал он, — она сделала себе имя. И очень помогла всем нам, приехавшим сюда впервые.

— Всем? — переспросил Краббе. — Кому?

— Разным организациям, — неопределенно ответил Хейнс. — Тут, в Юго-Восточной Азии, полно дел. — Вполне самодовольный голос, из записи «Четырех квартетов», хотя гораздо моложе. — Я, как вы догадались, занимаюсь лингвистическим направлением. Потом есть направление межрасовых отношений. И есть методы подготовки учителей, хронометраж и изучение трудовых движений на производстве, поведенческие навыки, статистика, социологические обзоры и, естественно, демографические исследования. Дел полно. Стоит, конечно, больших денег, но это наилучшее вложение капитала. Нельзя позволять коммунистам завладеть страной.

— Куда мы идем? — спросил Краббе. — Выпить?

Темпл Хейнс с виноватой улыбкой взглянул на часы у себя на руке — водонепроницаемые, с самоподводом, с календарем, с указателем лунной фазы.

— Что можно выпить в такое время дня? — спросил он.

— Кока-колу, — буркнул Краббе.

Хейнс весело рассмеялся, но никаких бабочек вокруг не было.

— Не надо иронизировать, — сказал он. — У нас многие ненавидят эту бурду не меньше, чем вы, европейцы. Хотя, должен признаться, я обнаружил в Европе массу вывесок «Кока-колы». — Нет, — продолжал он, — не надо нас отождествлять с Голливудом или с образом джи-ай [\[24\]](#). Если хотите, чтоб я подтвердил свою взрослость, с удовольствием пойду и выпью с вами джина. Не то чтобы мне действительно нравился джин без мартини, а мартини тут не найти.

Они пошли к Ань Сю-чжу. Была середина дня, а Краббе не завтракал. Он заказал свиные котлеты, вареную китайскую капусту. В кожаном кейсе Хейнса оказались не только записные книжки: он вытащил оттуда тонкие куски ржаного хлеба, арахисовое масло, швейцарский сыр, завернутый в фольгу. Экономно поел, закурил сигарету, от которой не бывает рака, дружелюбно смотрел, как Краббе заканчивает свой грубый обед.

— Сегодня, — сказал он, — я должен еще немного заняться диалектологией. Трудней всего, как вам известно, выделение фонем, вернее, определение, где фонема, а где аллофон. В высшей степени интересно и очень важно. — И тараторил дальше, а Краббе чувствовал себя непонятливым, невоспитанным, неотесанным. Британцы, решил он, просто одаренные дилетанты: Сингапур вырос на любительской архитектуре, на любительской городской планировке, на любительском образовании, на любительском законе. Теперь настало время профессионалов. Мысли ошеломляли его.

— А с музыкой что собираетесь делать? — спросил он.

— С музыкой? Это, естественно, не моя сфера. Но Льюис и Роджет, оба из Коннектикута, просят разрешения на проведение довольно тщательного исследования музыки Юго-Восточной Азии. Уйдут, конечно, годы, но они надеются создать нечто вроде законченного трактата, обильно дополненного записями.

— А если в Юго-Восточной Азии найдется многообещающий композитор?

— Повторю, — повторил Хейнс, — не моя это область. Моя область чисто лингвистическая. Но, — улыбнулся он, — если подобное чудо найдется, думаю, позаботятся дать хорошее образование. По-моему, уже

существует фонд для поощрения местных художественных талантов.

— Запишите фамилию парня, — потребовал Краббе, — сейчас же. И адрес. И сообщите. Пожалуйста.

— Думаю, вам это сделать удобней, чем мне, — возразил Хейнс. — Это, в конце концов, не моя область. Как я уже говорил, я...

— Знаю, — нетерпеливо перебил Краббе. — Но может быть, у меня никогда шанса не будет. Пожалуйста, запишите фамилию, пожалуйста, напишите тем людям.

— Если угодно. — Хейнс был самым что ни на есть добродушным, покладистым. Записал в карманный дневник имя и адрес Роберта Лоо. — Вот, — улыбнулся он, — готово.

— Спасибо, — сказал Краббе. Он чувствовал облегчение: возможно, со временем все бремя с него будет снято.

— Теперь, пожалуй, — сказал Хейнс, — устрою себе легкую сиесту. В два у меня дела. Может, дойдем до дома Манипенни?

Дом стоял за углом, чуть выше на холме. Грязный, голый, сведенный, подобно своему обитателю, к чистой первичной функции, презирующий все вторичные ощущения. Ванная, которую посетил Краббе, свидетельствовала, что Манипенни даже унитаз теперь считает излишеством. Пол устлан циновками из арахисовой соломки. Все сведено к человеческому минимуму: тапиока и табу. Свободная комната, которую занимал Хейнс, представляла собой сладкий прохладный оазис, антисептически чистая, собственноручно им вымытая и выскобленная, пахла репеллентами от насекомых, на полках аккуратно сгруппированы пузырьки: палудрин, хинин, пенициллиновая мазь, таблетки витаминов, всевозможные туалетные принадлежности. Но остальной дом, включая личную комнату Манипенни, где Краббе проводил свою сиесту, оставался мрачной рычащей пристройкой к джунглям, где Манипенни проводил почти все время, — чудовищному зеленому отелю, залитому водой.

Краббе спал долго, не слыша своевременного аккуратного ухода Хейнса. Проснулся после четырех, разгорячившийся, потный, во рту пересохло. Выпить в доме было нечего, даже холодной воды, так как Манипенни давно продал свой холодильник. Но Краббе припомнил, что американцы, — раса, лишенная чувства вины, равно как ощущения истории, — наверняка не столь склонны к самоуничтожению. Фургон Хейнса стоял в лачуге-гараже, в нем Краббе нашел морозильник, — не зная источника его питания, — который распевал во всю мочь, содержа в своем чреве бутылки с минеральной водой и открывалку на крышке. Он сел и стал пить, смутно думая о Фенелле. Ему не казалось особенно

примечательным, что, путешествуя вверх по реке по маленькому мирку, он с ней уже дважды соприкоснулся кончиком пальца, краешком ногтя. Она в конце концов добилась известности, может быть, потому, что отделалась наконец от него. Но он никак не мог избавиться от предчувствия, что вчерашнее чтение ее стихов и сегодняшнее упоминание о ней было неким зловещим предзнаменованием: точно река и джунгли напоминали об осторожности, говоря словами из его прошлого. Смерть? Не означает ли это, что он скоро умрет? Чепуха. Он в неплохой форме, несмотря на небольшие валики жира; пищеваренье в порядке; сердце хоть время от времени и трепещет, что можно приписать жаре, чрезмерному курению и дневной выпивке, вполне здорово. Ехать вверх по реке безопасно; надо только держаться подальше от снайперов. Самое главное: у него нет желания умирать; дел еще много, и все они превыше гибнущей колониальной Империи. Он отмахнулся от вспомнившегося вчера вечером предсказания мистера Раджа в Куала-Лумпуре о том, что ему никогда не вернуться домой, о его полной ассимиляции с этой страной. Это, разумеется, невозможно, и было бы глупо давать пророчеству ироническую интерпретацию, — могила сложившего свои кости в верховьях реки англичанина быстро становится местной святыней, заваленной приношениями в виде цветов и бананов. Но он по-прежнему испытывал желание отложить поездку в поместье Дарьян.

Теперь, впрочем, меньше, решил Краббе, представив себе еще день со здравомыслящим Хейнсом и обезумевшим Манипенни, в их мирах, чистом и грязном. Завтра он сядет в моторную лодку, закончит дела, быстро вернется в столицу, там изложит свои проблемы. Выпил еще бутылку минеральной воды Хейнса, слегка ароматизированной, шипучей, с сахарином, с экстравагантным заявлением на этикетке («побуждает поджелудочную железу к новым усилиям»), призадумался, что теперь делать. Потом появился сам Хейнс с планом на вечер.

Хейнс продемонстрировал как бы сдержанное удовольствие, видя Краббе в своем фургоне среди магнитофонов и холодных припасов.

— Добро пожаловать, — сказал он, — на американскую территорию. — А потом сообщил: — Нынче вечером в одной деревне произойдет событие, представляющее определенный интерес. Построили новую сцену для местного театра теней, состоится открытие. Хорошо бы, чтоб Канлиф тут был.

— Кто такой Канлиф?

— Друг, который скоро прибудет на эту территорию. Специализируется на антропологии, уже опубликовал трактат о

мексиканских народных обычаях. Не отправитесь ли со мной? Я слабо знаю малайский, хотелось бы сделать несколько записей. А может, и снимков. — И сдержанно кивнул на прекрасный сложный аппарат — фотокамеру с массой кнопок и градуировок. — По-моему, даже любительские наблюдения могут принести пользу. Присутствующий дилетант безусловно лучше отсутствующего специалиста.

Обеда в доме Манипенни не подавали. Гостям приходилось питаться самим с помощью немногочисленного сырья, нашедшегося в чулане хозяина, с трудом готовя на керосинке с засорившимися, не реагировавшими на спички конфорками.

Краббе разогрел себе банку супа, Хейнс приготовил яйца по-бенедиктински, кусочки консервированного мясного фарша с салатом из банки, Манипенни ел холодную вареную тапиоку, ворчливо высказывая отрывистые замечания по поводу цивилизации.

— Еще неделя, — сказал он, — и Барлоу вернется из Куала-Лумпура. Терпеть не могу такой жизни, — объявил он, насмехаясь над аккуратной тарелкой Хейнса, — неестественной. Хочу вернуться в джунгли. Единственно возможная жизнь для мужчины.

— Как Барлоу? — спросил Краббе.

— Как всегда. Милый маленький специалист-антрополог, тип из числа любителей канцелярской работы.

— Но, — с профессорской куртуазностью вставил Хейнс, — безусловно, ты первым должен признать пользу специалиста-антрополога. Я имею в виду тот факт, что он владеет терминологией, системой классификации, факт его тщательного знакомства с результатами интенсивных сравнительных исследований...

— Хренотень, — грубо оборвал его Манипенни. — Вам всем надо в джунгли отправиться. Надо столкнуться лицом к лицу с живой реальностью. Возьми Барлоу, который пересказывает в своих эссе университетские книжки, и возьми меня, который реально работает. Практического опыта ничто не заменит.

— Рискну не согласиться, — рискнул Хейнс. — Образование...

— Ты такой же никчемный, — отрезал Майи-пенни. У него явно выдался утомительный день в офисе. — Составляешь алфавиты, не зная ни на одном языке ни единого слова.

— На самом деле, — сдержанно возразил Хейнс, — я себя лингвистом никогда и не называл. Я — лингвистик, совсем другое дело. Я хочу сказать, в данный момент меня главным образом интересуют фонемы. Не желаю учиться бегло говорить на каком-нибудь таком языке: мне требуются только

необходимые для работы познания.

— Да, — подтвердил Краббе, — верно. Вопрос в том, какую картину можно составить на основании вашего рудиментарного опыта. Например...

— А вы, — сказал Манипенни, — заткнитесь. В любом случае, что вы вообще знаете? Приехали сюда сонный, хохотали при бабочках, как черт знает что. Когда гостите у меня в доме, ведите себя прилично. Ясно?

— Но...

— Никаких «но», — рявкнул Манипенни. — Сидите со своими мальчишечками-китайцами да с черными любовницами. А мне не указывайте, что надо делать.

— Я никогда и слова не сказал...

— Ну и молчите. — И стал вставать из-за стола. — Просто молчите, и все.

— А мне ваши высказывания не нравятся, — с жаром объявил Краббе. — Насчет черных любовниц.

— Мы знаем, что происходит, — сказал Манипенни, стоя со своей тарелкой в кухонной двери. — Может, от цивилизации далеки, — насмешливо продолжал он, — только все про вас знаем. Вы нам не нужны, ни мне, ни темьярам. Оставьте нас в покое, больше мы ничего не просим. — Он протопал на кухню, слегка сполоснул тарелку, вернулся, добавил: — Я ложусь. Можете делать, что пожелаете. — И ушел к себе в спальню.

— Именно так и сделаем, — сказал Краббе и хотел еще что-то сказать, но Хейнс легонько схватил его за рукав, качая головой со слабой улыбкой. — С ума сошел ко всем чертям, — заключил Краббе.

Краббе с Хейнсом неторопливо ехали к деревушке в четырех милях, где должна была состояться церемония вайянг кулит.

— Не могу там ночевать, — сказал Краббе. — Просто не могу. Он абсолютно явно свихнулся. Вдруг начнет буйствовать.

— Можете спать в моей комнате, — предложил Хейнс. — У меня есть надувной матрас. А на дверях замок.

— Да. Спасибо. В конце концов, всего одну ночь.

В деревне они встретили любезный городской прием. Староста даже принес теплый апельсиновый сок. Мастер театра теней в самых изысканных выражениях пригласил их сесть прямо на сцене позади барабанщиков, дудочников, кукол из воловьей кожи, висячей лампы, большого, туго натянутого экрана, на котором будут проектироваться силуэты, — присутствовать при немом процессе воспроизведения древней героической драмы.

— Оригинал индуистский, — пояснил Краббе Хейнсу. — Во всей вещи вряд ли найдется хоть след ислама. Сбросьте туфли, — предупредил он, поднявшись по ступенькам. — Таков обычай. — Пробрались в носках в угол пальмовой лачуги аттап, в высшей степени угнетающую жару замкнутого закутка, слыша, как гобоист заливается в импровизации, музыканты с барабанами и гонгами опробуют палочки. Мастер, скрестив ноги, сидел за экраном, рядом с обеих сторон от него многочисленные фигуры — боги, демоны, смешные посредники между сверхъестественным и подлунным миром, — манипуляция которыми составляла его почти священнические обязанности.

— Жарко, — выдохнул Хейнс. И у самого Краббе по лбу тек пот или собирался в той или иной впадине, ожидая, пока его вытрут. Но мастер, холодный, коричневый, погрузившийся в транс, уже вымолвил слово «ом», на мгновение отождествив себя с Самим Богом, призывая множество богов и демонов к милосердию и терпеливости, прося не обижаться на неумелое изображение их деяний, которое скоро последует, не сердиться на карикатурное представление их божественной сущности в фигурах из воловьей кожи. Предложил им деликатес — обдирный рис; склонился перед их величием. И помянул единственную истинную религию, хранимую четырьмя архангелами Корана.

Вскоре он взял в обе руки по богоподобной фигуре — тело и голова с экстравагантной прической, сплошь сложная кружевная резьба, — поднял на палках, потом замахал на экран, как бы деликатно овеивая его опахалом, и поднявшиеся за экраном в зале голоса засвидетельствовали, что изложение истории — так хорошо всем известной, которую Краббе было так трудно растолковать Хейнсу, — уже начало производить впечатление.

— Полный цикл, — объяснял Краббе сквозь гнусавую кантилену гобоя, гонга, барабанов, — длится неделю. Это индусский эпос, вековая борьба между богами и демонами, когда...

— Мне нехорошо, — сказал Хейнс. И выглядел нехорошо. Смертельно бледный, с залитым потом лицом, с блестящими от пота голыми руками. — От жары. — Краббе поймал взгляд гобоиста, древнего мужчины с достойными усами, и мимически сообщил, что они пойдут на ту сторону, по-настоящему посмотреть представление, собственно тени. Старик понял, кивнул и надул щеки, дуя в свой инструмент.

— Лучше, — сказал Хейнс на ступеньках, глубоко вдыхая сырой вечерний воздух. — Там безусловно жарко. Не выношу такую жару.

Рубашка у Краббе промокла, брюки к пояснице прилипли. Он нагнулся к обуви и сказал:

— Может, вам надо выпить, или еще что-нибудь. Чего-нибудь холодного. Давайте вернемся в... — И завопил от боли. Громко били барабаны и гонги, так что услышал его только Хейнс. — В туфле, — простонал Краббе с перекошенным лицом. — Меня что-то ужалило. Что такое... — Перевернул туфлю, откуда вывалилось чье-то раздавленное тело.

— Скорпион, — сказал Хейнс. — Черный, очень молодой. Лучше бы вам принять меры.

— Иисусе, — сказал Краббе. — Нога огнем горит. — И заковылял к фургону.

— Ну, — сказал Хейнс, помогая ему, — мы просто два дурака. Вот что получается, когда едешь приятно и познавательно провести вечер. — Свои башмаки он еще нес в руках. Оба шлепали в носках по короткой примятой траве, дойдя наконец до дружелюбного цивилизованного фургона. И поехали к городу. — Где-то здесь, — сказал Хейнс, — есть доктор. Индус. Я встречался с ним пару дней назад. Сделает вам укол или еще что-нибудь.

Доктор оказался на месте — разговорчивый одинокий тамил; дал Краббе пенициллин, велел не беспокоиться.

— Просто пару дней отдохните, — посоветовал он. — Я дам успокоительное. Видели кого-нибудь из моих друзей? — спросил он. — Моих друзей из братства Джафны? Вайтилингам со дня на день должен приехать, обследовать скот. А как Арумугам? Голос ему ужасно, чертовски вредит. Жалко, что он не может попасть к логопеду. Только, по-моему, в Малайе их нет.

— Будут, — заверил Хейнс. — Можете быть уверены.

— Да, — сказал доктор, — бедный Арумугам. — А Краббе тем временем все стонал.

— Но я думал, что правильно делаю, — пропищал Арумугам.

— Все крайне неудачно, — сказал Сундралингам. — Он вполне справедливо рассердится. — Они сидели у последи Маньяма в доме Сундралингама. Нос у Маньяма был непонятного цвета, болел: пришлось ему вторично отложить возвращение в Куала-Беруанг. И теперь он, сердитый, в саронге из шотландки, тиская жену-немку, мало что добавлял к озабоченной беседе двух своих Друзей.

— Да ведь это частично, нет, главным образом, твоя идея, — вежливо, но настойчиво верещал Арумугам. — Ты говорил, что та самая женщина, Розмари, не должна увести его из нашей компании.

— Да, знаю, но красть его письма — это уже, разумеется, слишком.

— Я не крал. Просто с почты забрал. Мысль была посмотреть, откуда

они, и, если найдется одно от той самой женщины, Розмари, распечатать над паром и выяснить, что происходит. — Голос уверенного в своей правоте Арумугама поднялся еще выше. — А потом я хотел отдать ему письма, объяснить, что забрал для него, сделав дружеский жест.

— А потом сунул их в задний брючный карман и совсем позабыл.

Это была абсолютная истина. Эффективно работавший Арумугам, с хладнокровием дрессировщика укрощавший сложные ревущие самолеты, унаследовав незапамятную традицию надежности тамиллов Джафны, — Арумугам жестоко ошибся. И заметил:

— Легко было сделать ошибку. У нас столько хлопот с Маньямом.

— Правильдо, — вставил Маньям с заложенным носом, — валите все да беда.

— А еще дело в брюках, — продолжал Арумугам. — Они чуть порвались, когда мы в тот день дрались с Сеидом Омаром. А потом, когда сын его пришел бить Маньяма, запачкались кровью. Твоей, — напомнил он Сундралингаму.

— Крови было не очень много, — сказал Сундралингам.

— А потом я на них пролил кофе, — добавил Арумугам. — Поэтому убрал в шкаф. И совсем позабыл. А потом Вайтилингам рассказывал, как та самая женщина, Розмари, обругала его, когда он увидел, как тот самый китаец из Пинанга занимается с ней любовью дома у Краббе, а потом Вайтилингам сказал, что теперь он ее ненавидит и больше никогда даже видеть не хочет. После этого я уже и не думал забирать его письма, и про письма, которые сунул в брючный карман, позабыл. Так что, видите, — завершил он, — легко понять.

Ведя речь, он рассеянно комкал письма в дергавшихся руках. Сундралингам отобрал их у него.

— Тут нет ничего жизненно важного, — заключил он. — Циркуляр из Калькутты, два местных счета. А вот это, — сказал он, — авиа с Цейлона.

— Давердо, — вставил Маньям с кровати, — я во всем видавад.

— Нет, нет, нет, — возразил Арумугам. — Просто так неудачно сложилось, и все.

— Особой беды не случилось, — решил Сундралингам. — Письма двухнедельной давности. А вот на этом письме из Канди штамп не слишком отчетливый. Можно еще размазать, затереть грязью, потом свалить на почту.

— Или на служителя из ветеринарного департамента, — предложил Арумугам.

— Да. Нету большой беды. Но больше никогда, никогда, никогда так

не делай.

— Не буду, — покорно сказал Арумугам. — А кто такая эта самая миссис Смит?

Сундралингам пристально взгляделся в фамилию и адрес на авиаконверте.

— Не знаю, — сказал он. — Никогда не знал, что у него в Канди есть друзья-англичане.

— Бадь, — вставил Маньям. — Бадь его вышла забуж за адгличадида.

— Мать, конечно, — вскричал Арумугам. — До чего странно думать, что фамилия матери Вайтилингама — Смит. — А потом, с гадким девичьим смешком, предложил: — Давайте откроем, посмотрим, чего она пишет.

— Ну вот еще, в самом деле, — упрекнул его Сундралингам. — Ты же знаешь, это очень нехорошо.

— Письмо не заклеено. Тропические авиаконверты без клея. Их просто степлером пару раз пробивают.

— Степлер из офиса мистера Смита, — сказал Сундралингам, крутя в руках письмо. — Почему вообще она вышла за англичанина?

— Дедыги, — цинично вставил Маньям. — Второй раз вышла забуж за дедыги.

— Только представить, — восхищенно сказал Сундралингам, — только представить два тела в постели, белое с черным. Ужасно.

— Ужасно, — пискнул Арумугам. — Давайте откроем письмо.

Сундралингам умелой докторской рукой вытащил скрепки. Извлек письмо, разгладил и начал читать. Письмо, довольно короткое, было написано на школьном английском. Арумугам пытался читать через плечо, но Сундралингам сказал:

— Веди себя прилично. Сперва я прочитаю, потом ты можешь читать. — Арумугам снова покорно сел на кровать.

— Нет, — ошеломленно вымолвил Сундралингам. — Нет, нет.

— В чем дело?

— Число, — потребовал Сундралингам. — Какое сегодня число?

— Двадцать третье, — сказал Арумугам. — А что? — Голос дошел до альтового до. — Что? В чем дело?

— Когда следующий самолет с Сингапура?

— Завтра. А что? Что за таинственность?

Сундралингам взглянул на него с глубочайшим укором.

— Ну видишь, что ты наделал своим глупым поступком. Завтра она будет здесь.

— Здесь?

— Да, да. Тут сказано, что она собирается двадцать первого полететь в Сингапур. Один рейс в день из Коломбо, правильно? — Но не стал дожидаться от Арумугама профессионального подтверждения. — И пробудет два дня в Сингапуре, пока га самая девушка накупит себе новых нарядов. А потом прилетит сюда следующим подходящим рейсом.

— Какая девушка? Что за девушка?

— Девушка для Вайтилингама. Сирота. Родители оба в автокатастрофе погибли.

— Сколько? — автоматически спросил Арумугам.

— Восемьдесят тысяч, — автоматически отвечал Сундралингам. — А отчим Вайтилингама едет в Пинанг по делам. А она хочет, чтобы Вайтилингам называл его папой.

— Нет!

— И она хочет, чтоб он в аэропорту ее встретил. Хорошую кашу ты заварил, — сказал Сундралингам. — Со своим очень уж любопытным носом.

Инвалид и преступник ошеломленно молчали. Наконец Арумугам сказал:

— Что нам делать? — Интонация завершилась почти за верхним пределом слышимости. — Теперь не осмелимся отдать письмо. Он убьет меня.

— Письмо затерялось, на почте, — объявил Сундралингам. — Может, она потом другое послала. Или телеграмму с подтверждением. Или из Сингапура уже позвонила.

— Дед, — покачал головой Маньям. — Од ди разу дичего бро это де упобядул. Бриходил утром бедя проведадь.

— Письмо потерялось, — повторил Сундралингам. — Письма иногда теряются. Для Вайтилингама будет приятный сюрприз. Мать придет в ветеринарный департамент, а он дает лекарство какому-то мелкому животному. С той самой девушкой. Какой будет сюрприз. Нету большой беды.

— Но, может быть, он не хочет видеть свою мать, — предположил Арумугам.

— Чепуха! Какому мужчине не хочется увидеть свою мать? И ту самую девушку. Восемьдесят тысяч долларов, — сказал Сундралингам. — Может, в конце концов, всем нам пора жениться, — вздохнул он.

— Никогда! — ревниво крикнул Арумугам.

— В любом случае, именно ты должен в аэропорту ее встретить.

Будешь смотреть за прибытием самолета. Передашь сообщение по громкоговорителю, попросишь, чтоб она с тобой встретилась в зале ожидания. Потом доставишь к сыну. — На глаза Сундралингама навернулись слезы. — Мать встречается с сыном после стольких лет. С будущей женой.

— Это будет сюрприз.

— О да, будет очень приятный сюрприз.

Глава 8

Розмари сидела за своим секретером из Министерства общественных работ среди моря накормленных кошек, пытаясь написать письмо Вайтилингаму. Взяла, как обещала себе, выходной в школе, приказав бою Краббе передать своей собственной ама, чтоб та сообщила в школу, что Розмари больна. Плотный вечерний обед, глубокий сон в постели, которая лучше, чем у нее; полное очищение, горячая ванна (у нее дома только холодный душ), поданный боем Краббе завтрак из яичницы с беконом и колбасой, — все это ее утешило и оживило. Она пришла домой, переделась в солнечное модельное платье из Пинанга, стянула волосы резинкой, накормила кошек говяжьей тушенкой и неразбавленным сгущенным молоком, и теперь сидела, готовая к новой жизни.

Сидела, вертясь на виндзорском стуле стандартного плетения, с пляшущим на губах розовым кончиком языка, пыталась писать, борясь с глубокой стилистической проблемой. Рядом с блокнотом лежало сухое предложение Вайтилингама, благородные периоды которого препятствовали и сдерживали обычный для Розмари разговорный поток. Кошки, задумчиво переваривая еду, сонно на нее смотрели, ничего не понимая в этой изысканной красоте.

Переминаясь с одной восхитительной ягодицы на другую, сосредоточенно прикусив язычок, она чувствовала, как пригревает солнце, которое было притушено салатными шторами, и все-таки придавало яркость горчичному ковру и диванным подушкам цвета перца с солью. Старалась дописать письмо, но обрадовалась, когда ее прервала открывшаяся позади дверь. Розмари автоматически проговорила:

— Ооооох, уходите, Джалиль, нельзя вам сюда приходить. Я велела, чтоб ама вас не пускала. — Потом вспомнила отвратительное поведение Джалиля вчера вечером и оглянулась с едкими словами. Но это был не Джалиль: это был китайский мальчишка. Лоо его фамилия. Стоял с очень робкой улыбкой, чистая рубашка с галстуком, наглаженные штаны свидетельствовали о влюбленности. Имя его Розмари не могла вспомнить.

— Привет, — сказал он.

— А, — сказала Розмари, — это ты. — Потом спросила с упреком: — Почему не в школе? — Улыбка его стала медленно гаснуть, и она вспомнила, что он больше не учится в школе, а работает в отцовском заведении. Поэтому пояснила: — Просто шучу. Это мне надо быть в школе.

— Знаю. Я там только что был, сказали, что вы заболели.

— Ой, — воскликнула Розмари. — Ох, да, заболела. Ужасная головная боль. — Внезапно приложила ко лбу руку, протерла ясные здоровые глаза с белыми, как облупленные яйца на пикнике, белками. Кошки видели притворство и не стали поднимать глаза на страдальческие звуки. А потом вспорхнули, как птицы, так как Роберт Лоо неловко упал на колени и молвил:

— Бедная, милая. Бедная, дорогая моя. — И вспыхнул при этом, как будто украл тему у какого-то другого, плохого композитора.

— О, на самом деле со мной все в порядке, — заверила она. — Нашло и прошло. — Роберт Лоо остался на коленях, гадая, что ему теперь делать. Несколько кошек сидели на подоконниках, одна на столе, глядя на него. Они впервые в жизни смотрели любительский спектакль. Роберт Лоо отвел от них растерянный взгляд, заметил блокнот, ручку, первые слова: «Дорогой...»

— Письмо пишете, — сказал он, ощущая какое-то поднимавшееся двусмысленное чувство.

— Да, пыталась. Встань с колен, брюки пылью запачкаешь.

Роберт Лоо поднялся столь же неловко, как падал.

— Ему пишете? — спросил он. — Тому самому Джо?

— Джо? — презрительно усмехнулась Розмари. — О нет, не ему. Я с ним покончила. Он меня умолял выйти за него замуж, но я не хочу. Я писала другому.

Надежда, отчаяние и тревога нарастали в душе Роберта Лоо.

— Мне? — Мысленно он уже приготовил два письма, подобно сдвоенным нотным станам партитуры: «После вчерашней ночи я поняла: как ты ни молод, один можешь сделать меня счастливой...» «После вчерашней ночи я больше никогда не хочу тебя видеть. Это была ошибка, пусть даже прекрасная; забудем то, что было...»

Розмари опять улыбнулась почти с материнским мудрым спокойным прощением и погладила ближайшую кошку.

— О нет, Джордж, не тебе. (Наконец-то вспомнила имя).

— Почему вы так улыбаетесь? — спросил Роберт Лоо почти возбужденно. — Что хотите сказать?

— Что я могу написать тебе, Джордж? — Радуюсь, что припомнилось имя, она решила вставлять его теперь при каждой возможности. Только он должен уйти поскорей; милый мальчик, но всего-навсего мальчик. Не так она еще стара, чтоб ее обожали мальчишки.

— Не знаю, — вспыхнул Роберт Лоо. — Просто думал...

— Не надо тебе ходить ко мне в школу, — предупредила она. — И сюда на самом деле нельзя приходить. Что подумают люди? — И добавила: — Джордж.

— Подумают, что я вас люблю, — пробормотал он. Потом громче: — Я вас люблю.

— О, Джордж, — не без кокетства улыбнулась она.

— Меня зовут не Джордж, — снова забормотал он, — а Роберт.

— Ты просто мальчик, — сказала она. — Я старше. Когда-нибудь найдешь какую-нибудь симпатичную китайскую девушку. Роберт, — добавила она, — а я думала, тебя зовут Джордж. Наверно, другого кого-нибудь вспомнила.

— Были другие, — приревновал он. — Знаю. Много других.

— О да. Много мужчин говорили мне о любви. Но я все время ждала Того самого мужчину. — Она мечтательно смотрела вдаль, по-прежнему глядя кошку.

— Того самого? Какого Того самого? — Потом вспомнил рыжего толстого коротконового мистера Райта [\[25\]](#) из Министерства общественных работ, открывшего крупный счет у них в заведении. — Я его знаю, — горько сказал он. — Старый, толстый. Европейец. — Роберт Лоо смутно начинал понимать, почему люди не любят европейцев: они все отнимают у азиатов.

— О нет, — сказала Розмари, все с той же отсутствующей улыбкой в глазах, — не знаешь. Хотя, может быть, скоро узнаешь. — Разумеется, церемония должна быть христианской, возможно в Пинанге. — Ты умеешь играть на органе, — вспомнила она. — Теперь вспоминаю. Ты музыку любишь. Мне Виктор Краббе рассказывал.

— Я вас люблю, — сказал он. — Выходите за меня замуж. — И чувствовал при этом поровну ужас и волнение. Брак означал превращение почти за одну ночь в старого мужчину, вроде его отца, имеющего обязанности. Но также означал повторение снова и снова тех самых изумительных, невыразимых головокружительных ощущений. Плоть среагировала на воображение. Он неловко поймал правую руку Розмари, ту, что не гладила бессознательно кошку, попытался поцеловать. Губы неумело чмокнули: то, что видели кошки, не было ни страстью, ни старомодным ухаживаньем.

— Ох, Джордж, — сказала она. — Я хочу сказать, Роберт. Не будь глупым мальчиком.

— Я не мальчик, — громко заявил он. — Я мужчина. Композитор. Может ваш Джо сделать то же, что я? Может он написать струнный

квартет, и симфонию, и скрипичный концерт? Говорю вам, я мужчина. Я буду великим. Не просто каким-нибудь там вашим мистером Райтом из Министерства общественных работ. Я буду знаменитым. Вы будете гордиться...

— Да, да, — успокоила она его. — Знаю, ты очень умный. Виктор Краббе мне всегда говорил. Только все равно глупый. И если еще здесь задержишься, отец рассердится. Нельзя вот так бросать работу, чтобы просто прийти повидаться со мной.

— Я делаю, что хочу, — сказал он. — Я мужчина.

— Да, — сказала она. — Но я должна письмо написать. Пожалуйста, теперь уходи.

— Не уйду! Я вас поцелую, я...

В дверь протиснулась масса цветов, а за ними хрипевший Джалиль.

— Ох, Джалиль, — воскликнула Розмари. — Вам не надо сюда приходить, вы же знаете. — А потом, с облегчением: — О, заходите, Джалиль, заходите. Ооооо, какие дивные цветы. — С облегчением встала со стула, принимая из рук Джалиля яркие охапки без запаха. Теперь Джалиль полностью обнаружился, тяжело хрипя, заметил Роберта Лоо, удовлетворенно кивнул, тихо промычал сверху вниз хроматическую гамму, потом, опускаясь в кресло, сказал:

— Китайский мальчик, китайский мальчик Краббе. Не люблю мальчиков. — Смущения он не испытывал, был спокоен, только грудь трудилась.

— О, прелесть, прелесть, — говорила Розмари, торопливо подыскивая для цветов вазы. — Роберт, — попросила она, — будь ангелом, налей воды. Ама на рынок пошла. — Роберт Лоо с горечью отметил взрослый подход: цветы в подарок.

Ему пришлось в голову только галстук надеть. Угрюмо взял протянутую Розмари вазу и пошел на кухню. Пока лилась вода, услышал слова Джалиля:

— Теперь мальчик у вас. Сколько платите?

И ответ Розмари:

— Ох, Джалиль, какие гадкие, жестокие, непростительные вещи вы говорите.

Тут Роберт Лоо быстро вышел с налитой до половины вазой, и ничего больше сказано не было. Кошки мельтешили вокруг стола, где Розмари расставляла цветы; об одну Роберт Лоо едва не споткнулся. Вовремя выправился, но облил свою рубашку и галстук. Розмари мило заметила:

— Ох, глупый мальчик. Весь замочился. — Кошка, на которую он

наткнулся, прижалась к ножке стола, заложив уши, вздыбив шерсть.

— Наверно, — глухо сказал Роберт Лоо, — мне лучше уйти.

— О нет, — поспешно возразила Розмари. — Останься. Выпей лимонного сока, еще чего-нибудь.

— Нет, идти надо. — Его глаза пытались ей что-то сказать, но он не принадлежал к типу китайцев с большими влажными выразительными глазами; глаза у него были черные, маленькие, не способные много сказать.

— Думаю, вам тоже лучше уйти, Джалиль. За цветы большое спасибо. — Но Джалиль положил ногу на ногу, удобней пристроил в кресле плечи. Он намеревался остаться.

— Пойдем выпьем, — сказал он. — Пойдем повеселимся.

— Ох, Джалиль! — Тут Розмари припомнила, что больна. — Голова, — драматически вскричала она, приложив обе руки ко лбу, как в рекламе средства от невралгии. — Ох, раскалывается.

Роберт Лоо замешкался в дверях, думая: «Она врет. Она все время врет», — но чувствуя сильные клыки жадного желания, больней всякой головной боли. На работу он не вернется: пойдет печалиться в какую-нибудь кофейню, только не в отцовскую.

— Не болит у вас голова, — сказал Джалиль. — Я видел ама на улице. Говорит, захотели сегодня бездельничать. — Он кивнул, улыбнулся, завозил ногами, каждой в разном ритме.

— Я пойду, — сказал Роберт Лоо.

— Да-да, хорошо, — отмахнулась Розмари. А потом обратилась к Джалилю: — Слушайте, а ведь я про вчерашнее позабыла. Свинья. — И пнула ножку стула. — Грязная поганая свинья. — Джалиль спокойно засмеялся. Пристыженный и разочарованный Роберт Лоо ушел.

— Поедем в машине, — сказал Джалиль, — в Лотонг. Выпьем, повеселимся в Доме отдыха.

Розмари заколебалась. Мысль, думала она, неплохая. Тридцать миль, шанс выбраться из города. Она не ожидала таких деклараций от Роберта Лоо: не хотела, чтоб он к вечеру вернулся, еще больше преисполнившись страсти, возможно, мальчишеской жестокости. И не хотела, чтобы ее видели в городе люди, готовые сообщить директору, что с виду она вполне здорова. И какой толк от выходного, если пару рюмок не выпить, не проехаться в автомобиле?

— Я сначала письмо должна написать, — сказала она. — Важное.

Джалиль засмеялся, закашлялся и опять засмеялся.

— Бесполезно писать, — сказал он. — Я вам говорю, он не женится. Не любит. Один я люблю.

— Вот тут вы ошибаетесь, — высокомерно, триумфально объявила Розмари. — Вот, я предложение получила. — Она помахала письмом. — Я хочу написать, что согласна. Завтра, — добавила она.

— Он никогда не женится, — сказал Джалиль. — Один я женюсь.

Роберт Лоо, руки в карманах, мрачно брел по шоссе. Подходя к главной улице города, вспомнил про галстук, поэтому вытащил из карманов руки, чтобы его сорвать, расстегнуть верхние пуговицы рубашки. Чего он хотел добиться, надев галстук? Подошел к витринному окну Ченя, дантиста. В том окне было жуткое золоченое изображение человеческого рта в поперечном разрезе и зеркало. Над зеркалом было написано по-китайски: «Хорошенько взгляните на свои зубы. Они наверняка испорчены. Заходите, и я опять наведу полный порядок». Изнутри неслись звуки, сопутствующие наведению полного порядка, стоны, ободряющий смех врача. Роберт Лоо взглянул не на зубы, а на свое лицо и увидел гладкое лицо мальчика, тонкую шею, худые плечи. Позади отражения шли реальные мальчишки, школьники, возвращавшиеся домой из школы, галстука ни на одном из них не было. Мальчик, мальчик, мальчик. Китайский мальчик. Портрет композитора в юности. Потом в зеркале мелькнуло лицо другого мальчика, коричневого, с приплюснутым носом, длинными волосами, который приветственно оскалил зубы. Поэтому Роберт Лоо обернулся навстречу робкой руке, готовой к рукопожатию. Это был Сеид Хасан.

— Ты куда? — спросил Сеид Хасан.

— Не знаю. Просто иду, дышу воздухом, — сказал Роберт Лоо по-малайски.

— Завтра, — с гордостью объявил Сеид Хасан, — суд. Большой день.

— Что с тобой будет?

— А, тюрьма, может, на много лет. Может, каторжные работы. Может, сегодня последний день на свободе. — Он гордо усмехнулся. — Я совершил ужасное преступление.

— Не такое ужасное.

— Нет, такое, — настаивал Хасан. — Ужасно ужасное. Насилие, покушение на убийство. Не скажи, что не ужасное.

— Ужасное, — согласился Роберт Лоо.

— Отпразднуем сегодня, — предложил Хасан. — У тебя деньги есть?

— Отец дал десять долларов. — Это была правда. Необъяснимо: когда Роберт Лоо сошел вниз после завтрака, умывшись и повязав галстук, отец протянул руку к кассе и вытащил бумажку, сказав:

— Вот, сын, возьми. Купи себе чего-нибудь. В жизни не одна работа.

— У меня, — сказал Сеид Хасан, — пять долларов. Я машину вымыл одному типу из Министерства общественных работ.

— А, — сказал Роберт Лоо. — А потом: — Куда пойдем?

— Я за тобой вечером заскочу, — подмигнул Сеид Хасан. — Часов в десять. Тогда увидишь, что мы будем делать. Только, — вспомнил он, — я забыл. Насчет твоей возлюбленной. Когда ты ее снова увидишь?

— Не скоро, — сказал Роберт Лоо. — Она занята.

И они разошлись. Роберт Лоо вернулся в отцовское заведение. Отец ушел, видно, где-то играл; мать встретила его с тремя сырыми яйцами, взбитыми в бренди.

— Поешь, сынок. Очень ты бледный. А к ленчу дам жареную свинину. Полезно для крови. — Незнакомая прежде заботливость была очень загадочной.

Но Роберт Лоо мало смог съесть. Сидел после ленча на привычном месте за стойкой, автоматически подводил счета; перед ним лежали написанные страницы скрипичного концерта, ниже множество разлинованных пустых строк, которые еще предстояло заполнить. Было очень жарко. На улице клубилась пыль, несколько безжизненных любителей кофе сидели за столиками, день спал. Великий музыкальный бог молчал — благоприятное время для разработки темы, когда она рождается из подсознания, оживает, благодаря онемению внешней оболочки сознания. И ничего не вышло. Солистка-скрипачка как бы испарилась. Роберт Лоо вытащил из кассы десятицентовую монету, скормил спящему богу. Тот вяло проснулся, с презрительной неторопливостью нашел пластинку, выбранную наугад рукой Роберта Лоо, а потом день взорвался крикливыми фальшивыми переживаниями танцевального оркестра, долгого, как жизнь. Уткнувшись в кулак подбородком, Роберт Лоо сидел, слушал за своей стойкой, сердце ныло, глаза смотрели в никуда; братья весело шныряли вокруг, время от времени, видя сомнамбулически вплывавших клиентов, покрикивали на кухню:

— Копи о!

— Копи о пинь!

Но Роберт Лоо не мог заказать ничего, даже самого простого черного кофе, горячего или со льдом, для утоления своей жажды, которая не имела названия. Это была не жажда Розмари, не великая жажда, которую, как однажды сказал Поль Клодель, возбуждает женщина, но может утолить только Бог. Даже искусство, кажется, не несло утешения. Но когда пластинка кончилась, а машина заснула, Роберт Лоо взял клочок писчей бумаги, пригодный для фортепьянной композиции, и лениво набросал

несколько тактов разнузданных, но почти вязких, как у Дебюсси, аккордов. Слыша их мысленным ухом, он получал утешение, словно жалость к себе была как-то связана с великим невидимым планом, составленным неким богом, представлявшим собой одни мягкие губы и огромные тающие глаза, богом, которого умели вызывать Чайковский, Рахманинов, ранние произведения французских композиторов-импрессионистов. Он просмотрел первые такты скрипичного концерта, вытащил из своего кейса под стойкой рукописи скрипичного квартета, симфонии (последние страницы разорвал отец). Умно, думал он, все эти контрапункты. Произведение умного мальчика, первого по математике. Но что оно ему теперь говорит? Где тоска, где разбитое сердце, которое мог бы утешить легкий звук одной плывущей мелодии и громких аккордов? Эта музыка не его; это чья-то чужая работа, неведомый автор которой ему не особенно нравился.

Вайтилингам сидел, потя, тяжело дыша, в одном из кресел Розмари. Она ушла, сказала ама, уехала на целый день с турецким господином. Вокруг Вайтилингама расположилась пушистая мягкая армия кошек, которые знали его, не испытывали неприязни, несмотря на острые иглы, на сильные руки, вводившие лекарства; отчасти привлеченные таинственными запахами, прибывшими на его одежде из операционной. Вайтилингам их не видел. Розмари нет. Розмари нет. Ама не знает, когда она вернется.

Это хотя бы не сон. Пальцы чувствуют твердую деревянную ручку кресла. А теперь он слышит жужжание вентилятора на потолке, который Розмари, беспечно относившаяся к счетам за электричество, не выключила. Это вполне реально; а теперь он видит кругом жмурившиеся морды, зевки, мытье пушистых, словно палочки турецких барабанов, лап, плавные, как у пантеры, движения. Сном, неправдой, о которой нельзя больше думать, было вот что: он стоит в операционной, осторожно вставляет подкожный шприц в задний проход заболевшему ручному пото, затем возникает глупая улыбающаяся физиономия герольда — Арумугама; потом жирное красивое лицо женщины в сари, потом девушка с нервной усмешкой, хорошенькая, скучная; потом приветствия...

Один из помощников с белозубой улыбкой занялся пото, поняв, что происходит, услышав восклицание: «Мальчик мой!» — и дурацкий писк Арумугама про приятный сюрприз.

О боже, зверь, лишенный разуменья ^[26]... Зверь, животное, ему надо идти лечить животных. «Работа не ждет. Да, да, Арумугам отвезет их домой на машине. Он увидится с ними попозже. Но теперь, выстрадав еще один поцелуй красивой черной женщины, ему надо идти. На полчаса, не

больше. Пойдем куда-нибудь на ленч. Но он должен осмотреть животных.

Пушистым животным надоело смотреть на такого застывшего человека, обмякшего, потного в кресле, суется вокруг него. И они отправились по своим делам: лакать с блюдца, умываться, жмуриться на солнце. Все было бы легко, думал Вайтилинг, легко, если бы они с Розмари поженились. Даже сейчас, если бы она согласилась. Но перед матерью он не мог притворяться: она видит насквозь через всю маскировку, сорвет пыльные декорации; сильная женщина, женщина, чье имя — вероломство. В любом случае, это, конечно, неправда, сон. Немного отдышавшись, он вернется в пустую холостяцкую квартиру, а после обеда — в холодную антисептическую тишину ветеринарного департамента; видение полностью испарится примерно за час спокойного глубокого дыхания.

Однако кошки задергались, зашевелились, заслышав более острым, чем у него, слухом приближение автомобиля. Вошла ама, сказала, что мисси, наверно, вернулась. Но Вайтилинг знал: нет. Это за ним приехали, лениво топают ноги преследователей. Спрятаться? Но ниже по улице в двадцати ярдах стоит «лендровер» ветеринарного департамента. Если бы можно было до него добраться, умчаться, крикнуть, если увидят и остановят, что есть еще срочное дело, ему нельзя задерживаться. Хотя он начнет заикаться, время будет упущено, его схватят. Это работа Сундралинга и Арумугама. «Остановите его, держите подальше от той самой женщины, развратной нечистой христианки. Мы вам говорим, что нашли его у нее, миссис Смит. Он к ней ходит, только фактически ничего такого, ха-ха. Просто дружба. Он ухаживает за ее кошками, вот и все. Вы услышите из его собственных уст. Только теперь пусть кто-нибудь другой заботится о кошках, у него будут другие заботы».

Нет! Уже слыша громкие голоса, хлопнувшую дверцу машины, Вайтилинг шмыгнул через кухню, через помещения для прислуги, пройдя тем же путем, каким совсем недавно слепо следовала сама Розмари. Уже прозвучал стук в парадную дверь. Нервы у Вайтилинга ходили ходуном, он лихорадочно кивал ама, мимически приказывая не открывать, не впускать визитеров. Ама, не очень сообразительная малайская девушка, смотрела на Вайти лингама, хмуря брови, не понимая.

— Он должен быть здесь. — Голос Арумугама из-за двери. Вайтилинг рванул через кухню, через другие комнаты, когда ама, поняв, в конце концов, его намеки, пошла открывать. Вайтилинг вырвался, спотыкаясь о подстилки прислуги, сквозь чрезмерный поток кошек, из дома под солнце. Отыскивая свою машину, увидел у дверей знакомые спины.

Пускай забирают «лендровер» с отделением сзади для более-менее крупных зверей. Для зверей, лишенных разума. Визитеры — Арумугам, Сундралингам, красивая толстая женщина, но без улыбавшейся девушки, — удивленно оглянулись, увидели Вайтилингама уже за рулем, повернувшего ключ зажигания. Лицо его исказила вымученная улыбка, и он крикнул:

— Срочно... — начал с трудом выговаривать слово «должен», но бросил, передернул плечами, быстрой пантомимой сказал: — Дела, Дела, дела. Что я могу поделать? Скоро вернусь. — Они, крича, направились к нему, но мотор завелся, он стронулся с места, умчался.

Вайтилингам не знал, куда едет. Слишком поздно уже, думал он. Если б можно было попросить Розмари, если б можно было уговорить сказать «да». Он был уверен, она бы сказала, так как с Джо кончено, он уверен, ведь турецкий господин кому-то рассказал, а кто-то рассказал Вайтилингаму. Если б только удалось встретиться с ней, с красивой толстой женщиной, с ними обеими, Розмари заявила бы: «Он мой. Мы собираемся пожениться», — или, лучше, не прибегая ко лжи, пролептически объявила бы: «Мы женаты. Первым делом он — мой муж. А уж потом ваш сын». Женщина лицом к лицу с женщиной, черные глаза противоречиво сверкают. «Оставьте нас в покое. Позвольте быть счастливыми вместе. У вас больше нет над ним власти, нет никаких прав». Но уже слишком поздно,

Куда ехать? В зеркале заднего обзора не видно никакого преследующего «лендровера». Надо спрятаться. Нет. Он замедлил ход, остановился на миг у обочины длинной пустой дороги к городу, придя к выводу, что вопрос о том, чтобы спрятаться, исключен. Она пришла за ним. Не успокоится, пока не достанет его. А он знал, что слишком легко сдастся.

И что теперь с Чжоу Энлаем, с Коммунистическим Манифестом? А? Неужели кончились времена доктринерских рассуждений, простых мечтаний о действиях? Пришло наконец время действовать?

Надо помнить о животных, животные — его долг.

А как насчет долга перед человечеством?

О подобных вещах можно думать потом, на досуге, если когда-нибудь снова будет досуг для раздумий. Вайтилингам заметил, что едет по дороге в Анжинь. Из Анжиня в Мавас. По железной дороге. Машину можно или нельзя будет потом отправить обратно. Ее можно или нельзя оставить на вокзальном дворе и забрать на обратном пути. Так или иначе, пора ехать в Мавас. Занявшись повседневной рутиной, леча больных коз и буйволов, он не спеша придет к какому-нибудь решению. Поезд в Мавас отправляется

где-то вечером. А где черный чемоданчик? Тут, конечно, сзади на полу в машине. Вот почему у них возникли подозрения: они увидели чемоданчик в машине по дороге домой, удивились, что у него срочное дело, а чемоданчик забыт. Почему они его не оставят в покое? Но фактически он от них не бежит. Пора ехать в Мавас, правда? В определенном смысле, всегда есть какое-то неотложное дело.

Дело, дело, дело. Автомобиль спешил по горячей дороге, и гудок его, предупреждая беспечного старика, топтавшегося на обочине, произнес: «Дело, дело».

— Дальше по улице почти всех можно встретить, — сказал Сеид Хасан. — После закрытия парка.

— Да, — сказал Роберт Лоо. Его это не особенно волновало с той или с другой стороны. Стояла тьма — тьма, одной большой шубой окутавшая стонавшего от укуса скорпиона Краббе в Мавасе; Вайтилингама в тихо бежавшем поезде; Розмари, вернувшуюся наконец домой, с закрывшейся за Джалилем дверью; Сеида Омара, проклинавшего судьбу в кофейне за бренди и имбирным элем за чужой счет; малайских главным образом разведенков, тихо слонявшихся от фонаря к фонарю, желтых и грациозных, подобно другим ночным тварям.

Хасан не мог скрыть ни страха, ни волнения. Он не пытался прикидываться всезнающим молодым человеком: опыт Роберта Лоо стоял между ними, как другой человек, которого Хасан сознательно считал толмачом. В один момент он, задыхаясь, спросил:

— Чего будем делать? Заговорим с парочкой?

— По-моему, — сказал Роберт Лоо, — лучше всего просто где-нибудь встать и ждать. — Теперь он тоже чувствовал шевельнувшееся возбуждение: вновь узнал тот комплекс ощущений, музыкальную часть из сплошного крещендо. Но надо ли просто слепо стремиться к нему в пустоте, без того, что зовется любовью? Вчера вечером он вообще не стремился к нему — это просто случилось. Пусть теперь произойдет то же самое, пусть миг настанет. И они стали ждать; Хасан вытащил из кармана рубашки пачку сигарет «Раф Райдер», предложил одну Роберту Лоо. Роберт Лоо отказался: у него не имеется дурных привычек. Хасан попыхивал сигаретой, пока кончик ярко не засветился, ее уже было почти чересчур горячо держать. Они ждали.

Долго ждать не пришлось. Две девушки были чистенькими, хотя от них несло духами «Гималайский букет». Крошечные, но хорошо развитые. Их наряды свидетельствовали о скромном следовании традиции и религиозным обычаям, но в то же время намекали на скрытые под ними

несказанные сокровища, которые надо выпросить или купить. Девушки пошли с молодыми клиентами, тепло взявшись за руки, тараторя на непонятном мягком малайском, на ночном малайском, к одному дому. Девушку Роберта Лоо звали Асма беи Исмаил, и жила она этажом выше своей коллеги. Заниматься любовью с ней было нетрудно.

В ослепительный кульминационный момент Роберт Лоо вполне ясно увидел, какую музыку хочет писать: видение подтверждало те самые строчки, кипящие фрагменты вчерашней ночи, — какая-то прекрасная парящая мелодия над сочными фортепьянными аккордами солиста. Скрипачка исчезла. Когда тело его успокоилось, Роберт Лоо увидел непрошеную картину: ряды консервных банок на отцовских полках. Сначала нахмурился, гадая, что бы это значило, потом слабо улыбнулся. Он давно победил гигантов — гармонию, контрапункт, оркестровку. А теперь победил любовь.

Она попросила пять долларов; он дал ей шесть.

Глава 10

Мистер Ливерседж упорно жевал жвачку, тихо и незаметно, сидя на своем месте. Если кто-нибудь в суде заметит легкое движение скул, вполне может принять за разминку новых вставных челюстей или за легкий симптом тропической невралгии. В любом случае, не имеет значения. Это Восток, тут позволено многое, запрещенное у антиподов. Мистер Ливерседж, родившийся в Тувумбе, учившийся в Брисбейне, был закоренелым здравомыслящим квинслендцем и видел все смехотворные восточные суса в истинном свете. Люди здесь убивают за пять долларов, мужчины разводятся из-за того, что жены вздыхают над красотой кинозвезды П. Рамли, даже рыщущие по ночам бродячие собаки визжат до посинения, если другой пес куснет их за мизинец. Мистер Ливерседж жевал, кивая понятному рассказу мистера Лима из Пинанга, хоть в душе презирал акцент помми [\[27\]](#); жевал откровеннее, дергая кончиком носа, над риторикой тамиллов, особенно тамила с голосом как у чертовой девки, над обрывочными несуразностями полиции. И быстро вынес вердикт:

— Много шуму из ничего. Мальчишки ищут приключений. Где их можно найти? Они хоть не торчат каждый вечер в кино, не шляются по кофейням. Проявили инициативу. Настоящего вреда причинить не хотели. Посмотрите на ножи, которые полиция именует смертельным оружием. — Мистер Ливерседж взял одно заржавевшее вещественное доказательство. — Этим ножом не разрежешь горячего масла. Им и муху не ранишь. — Четверо обвиняемых возненавидели мистера Ливерседжа за такие слова. Вот оно, британское правосудие. — Они ничего не украли. Брюки возвращены. Если бы мальчишки хотели украсть, украли бы не одни грязные обвисшие брюки. — Маньям вспыхнул. Ему не удалось получить из Паханга другую одежду на смену. — В штате творится истинный бандитизм, в джунглях, в деревнях, причем многие, кому следовало бы хорошенько подумать, ему помогают и поощряют. Но не надо хватить горстку безобидных мальчишек за невинное приключение. Не надо попусту тратить время. У нас есть дела поважнее. — Четверо мальчиков выпустили негодование шипящим паром. Безобидных, надо ж такое сказать. Невинное, ничего себе. — Дело закрыто. Но хотелось бы предупредить этих мальчиков. — Предупреждай, предупреждай. Предупреждение: уже лучше. — Хотелось бы предупредить: ищите более подходящий выход своей энергии и любви к приключениям. Вступите в какую-нибудь

крупную организацию. В бойскауты, например. — Четверо юных малайцев в ужасе заledenели. — Хотелось бы добавить, что фактически государство обязано обеспечить энергичной инициативной молодежи какое-то занятие в свободное время, иначе ее будет тянуть к приключениям, а вполне взрослые люди, которым следовало бы хорошенько подумать, могут признать подобные приключения, сколь бы они невинными ни были, — он иронически прочитал по бумажке, — покушением на убийство, грабежом, насилием и еще бог знает чем. Все, переходим к следующему делу.

Переводчик-малаец действовал быстро, сведя и без того сжатый вердикт мистера Ливерседжа к нескольким кратким красочным идиомам. Мистер Ливерседж дружелюбно жевал жвачку, озирая веселых зрителей, собиравшихся уходить главных действующих лиц. Маньям и Лим тревожно поглядывали на часы, обоим надо было успеть на самолет.

Возле здания суда Сеид Омар, в воротничке, в галстукe, в пиджаке, крепко стукнул сына по спине.

— Слышал, что он говорил, — сказал он. — Говорил, одни тамилы получают по заслугам. Фактически говорил, пора малайцам тамиллов сожрать; естественно, подразумевается, и китайцев. А ведь я много лет ругал британскую юстицию. А теперь понимаю, в ней, в конце концов, что-то есть. Хоть, конечно, этот хаким австралиец. Не совсем одно и то же. Они страдали под английским ярмом. Может быть, эту разницу надо прояснить.

— Он ничего не говорил про тамиллов, — возразил Сеид Хасан. — Английский я как-нибудь понимаю.

— Надо читать между строчек, — объяснил отец. — Они говорят не так прямо, как мы. Многие подразумевают. Видел, как он зыркал на тамиллов, неодобрительно челюстями жевал. Впрочем, слава богу, все кончено. Теперь можно сосредоточиться на обычных заботах. Искать работу, например. Денег запясть, например. Постой-ка — залог. Деньги теперь вернут Краббе. Он определенно единственный, у кого я могу занять.

— Вон идет, — сказал Хамза. — Тамил, в аэропорт отправляется. Нос до сих пор распухший, да он давно не был в Паханге. Должен же когда-то вернуться.

Сеид Омар злое усмехнулся при виде потерпевших поражение Арумугама, Сундралингама и Маньяма, садившихся в машину Сундралингама. Потом ошеломленно разинул рот, вспомнив, что забыл кое-что.

— Боже, — сказал он. — Юсуф. Вон. Юсуф. — Сеид Омар увидел, как чи Юсуф, его бывший коллега, в высшей степени похожий на клерка в роговых очках, с аккуратными редевшими волосами, садится в маленький

«остин» вместе со своей дочерью, с дочерью, которую, как Сеид Омар в конце концов узнал определенно, хоть и косвенно, много раз выгоняли из офиса, где он раньше работал, где много лет отдавал Департаменту кровь и пот и где она теперь заняла его место, демонстрируя полицейским зубы в улыбке и коричневую грудь в промежутках между печатанием на машинке рапортов, писем и меморандумов. — Боже мой, — сказал Сеид Омар. И увидел мистера Лима из Пинанга, по-англикански элегантного, садившегося в «хиллмен», которым его фирма пользовалась в этой части полуострова; водитель-малаец ловко захлопнул за ним дверцу. — Стойте! — крикнул Сеид Омар. — Стойте! Я с вами!

— Не валяй дурака, отец.

— Он уже сделал из меня дурака, этот гад. Стой! — крикнул Сеид Омар. Подскочил к окну автомобиля и сказал изумленному мистеру Лиму: — Догоните вон ту машину, вон тот «остин». Быстро, дело срочное.

— Право, — сказал Лим Чень По. — Право. Я должен попасть в аэропорт. Успеть на самолет.

— Туда он и едет, — подтвердил Сеид Омар, — я знаю. Пива едет выпить в баре. Горькое ему будет пиво.

— Нет, — сказал мистер Лим. — Если вы снова намерены взяться за глупости, помощи от меня не ждите. Сами справляйтесь.

— Чего ждать от китайца, — крикнул Сеид Омар вслед уезжавшему автомобилю. — Китайцы нам враги. Проклинаю тебя, желтокожий ублюдок. — И кликнул: — Такси! — Пристыженный Сеид Хасан увел своих друзей.

— К Лоо пойдем, — сказал он. — Он нас туда пригласил зайти выпить, если отделаемся.

— Он? Китаец?

— Правильный парень.

Хотя Сеид Омар и не мог расплатиться, он давал шоферу такси начальственные указания. Машина чи Юсуфа, подобно автомобилю Сундралингама с Арумугамом, давно уехала, вздымая пыль в сухую погоду. Такси кашляло, тряслось в хвосте процессии. Но Сеид Омар понимал, сидя сзади на голых пружинах сиденья, сняв галстук, расстегнув рубашку, приготовившись к действиям: никакой спешки нету. Никто не уйдет. Он надеялся на присутствие в аэропорту приличной толпы, большого числа народу, чтоб оправдать затрату всех своих драматических талантов и силу ударов. Из открытого окна веял прохладный ветер. Они мягко плыли по дороге сами по себе. Потом, приближаясь к кофейне в пальмовой лачуге аттап на окраине деревеньки, стоявшей на полпути между городом и

аэропортом, водитель сказал:

— Мне надо сигарет. Заплати сейчас половину, чтоб я их купил. — Это был хитрый, крепкий, худой мужчина, ровесник Сеида Омара, в свое время много страдавший от жен и безденежья. Он уже пять лет выплачивал за такси.

— Когда приедем, — сказал Сеид Омар. — Не раньше. Давай, нечего время терять.

— Половину. Доллар.

— Все получишь, когда приедем.

— Покажи деньги. Сдается мне, их у тебя нету. — Тяжелая жизнь мало чему его научила.

— Оскорбляешь, — заметил Сеид Омар. — Твое дело везти меня, куда велю. Кто ты такой, чтоб задавать оскорбительные вопросы насчет финансового положения тех, кто лучше тебя?

Такси остановилось у кофейни. Водитель ждал праздной перебранки.

— Что ты имеешь в виду: «лучше»? У меня есть работа, а у тебя нет. Не верю, будто у тебя есть хоть два цента, которыми можно было бы звякнуть. — Он удобно положил руку на спинку своего сиденья. Палила жара, возникавший на ходу ветерок исчез.

— Аллах всевышний, — выругался Сеид Омар. — Я с тобой в другой раз поспорю. Сейчас твое дело не спорить, а везти меня в аэропорт. За это я тебе плачу.

— Что-то я никакой платы не вижу.

— Я веду происхождение от Пророка. Таково значение моего имени Сеид, хотя ты, может быть, слишком необразованный, чтоб это знать. У меня гордость есть, ты оскорбил мою гордость. Когда я что-то беру, то за это плачу. Ну, поехали, быстро. В аэропорт.

— Дай взглянуть, какого цвета твои деньги.

— Ты увидишь, какого цвета у меня кулак, если не сделаешь, что говорю.

— На словах горазд драться, да? Ну, я уже по-настоящему испугался. — Шофер ухмыльнулся, показав мало зубов, но зато золотых. — У тебя, видно, крепкие мускулы под дряблой шкурой.

— Не буду я больше с тобой спорить. Делай свое дело, тебе заплатят по окончании. Только ты вел себя так оскорбительно, что чаевых не получишь.

— Ха, здорово. Он говорит, чаевых не получишь. Платы тоже.

— Слушай, — сказал Сеид Омар, — я туда приеду и собственными руками дам тебе сигарет. Устраивает?

— У тебя и кредита там нету. Там таких типов знают.

— Таких типов. Клянусь богом! — Сеид Омар принялся колотить жесткое плечо шофера. — Поехали. Делай, что говорю. Или я сообщу про тебя в полицию, городскому совету, ментри безар. Делай свое дело, будь ты проклят.

Услышав сильное слово шелака, водитель сказал:

— Вылезай. Выходи, убирайся. Можешь пешком идти остальную дорогу. Скажи спасибо, что я тебя полпути бесплатно провез.

— Тогда назад в город меня отвези.

— Еще чего. Вылезай, убирайся. — Мужчина сам вылез со своего места, открыл дверцу перед Сеидом Омаром. — Аэропорт вон в той стороне, — указал он, — если не знаешь.

— Клянусь богом, — сказал Сеид Омар, — ты за это рассчитаешься. — Он вылез, ринулся на шофера, но шофер весело рассмеялся и снова юркнул на свое место. Повернул ключ зажигания, тронул взревевшую машину, умело развернулся, быстро запылil к городу. Сеид Омар ритмично тряс кулаком. Старуха, хозяйка кофейни, тем временем шамкала деснами и трясла головой над чудачествами современного мира.

Сеид Омар пустился в путь к аэропорту. Тугую коричневую кожу жемчугами усеивал пот, жирок ритмично трясся. Мимо не проезжала ни одна машина, которой можно было бы посигналить. Ни одна, но проехала машина из аэропорта, «остин» с ненавистным знакомым номером — PP 197, — а в ней чи Юсуф с дочерью. Дочь помахала рукой, улыбнулась. Сеид Омар заплясал на горячей дороге. Он уже миновал точку, откуда нет возврата: до аэропорта миля, до города три мили. И пошел, дошел до серебряного аэропорта, где солнце освещало ждавший самолет, серебром сверкало стекло диспетчерской башни, стояли автомобили. Самолет, извилистый курс которого устраивал пассажиров в Паханг и в Пинанг, задерживался с отпращиванием. Возможно, прозвучало имя султана, а его высочество, зная, что он выше всякого расписания и закона, еще праздно сидел за ранним кэрри в Истане. Но нет, из громкоговорителей уже трещали распоряжения для пассажиров, и, когда Сеид Омар подошел ближе к летному полю, он увидел топкую нитку людей, которые оглядывались, улыбались, махали, уже тянувшуюся к стюардессе в дыре в огромном серебристом корпусе. А когда Сеид Омар, хромая, ввалился в зал ожидания, там два тамила прощались с третьим, обнимались, похлопывали, трясли руки, один с девичьим голосом сильно тряс, выражая самые сердечные прощальные чувства. Потом Маньям с не особенно красным и распухшим носом, который фактически почти можно было предьявить

начальству в Паханге, присоединился к ожидавшей очереди, опечаленно улыбаясь назад. Сеид Омар прорвался сквозь вежливый кордон китайцев в белом.

— Сообщение в последнюю минуту, — импровизировал он. — Из полиции. Очень срочно. — Маньям стоял последним в очереди на посадку. Сеид Омар бросился на него, пригнул к асфальту на глазах улыбавшихся и махавших людей, сверкавшего самолета, жаркого индифферентного солнца, и сказал: — Это ты во всем виноват. — Швырнул Маньяма на колени, принялся бить лицо в разных местах. Маньям взвыл. — Ты все это начал. — Теперь служащие аэропорта не торопились вмешаться, прочие медленно выходили на сцену, даже полиция размышляла, не выходит ли это насилие за рамки ее компетенции. Сеид Омар как следует двинул Маньяму в глаз и позволил себя увести, не без удовлетворения заявляя: — Он все это начал. Он всем внушил мысль о предательстве. — Изуродованный Маньям тем временем одиноко выл.

— На этот раз, — вздохнул Сундралингам, — лучше ему остановиться у тебя дома. Я свое сделал. Лучше вели приготовить ему постель.

— Места нет, — пропищал Арумугам. — Ты же знаешь, нет места.

— Тогда у Вайтилингама. Пора Вайтилингаму что-нибудь сделать. Боже, боже, какая неприятность.

Но дни шли, а Вайтилингам не возвращался. Так или иначе, Сундралингам забыл, что в квартире Вайтилингама уже устроились миссис Смит и богатая сирота по имени Челванаджаки (его предшественник был человеком женатым: места было много, хоть для Маньяма и не хватило). Миссис Смит лично вымела все углы, приказала слуге-сиамцу все выскрести (где он счел нужным), собираясь устроить вкусный обед к возвращению сына. А потом через массу щелей стали просачиваться загадочные известия насчет Краббе, и, по восточной традиции, из чисто случайного пребывания Вайтилингама в одной лодке с Краббе, из того, что они направлялись в одно и то же место, причем оба одновременно исчезли, вытекали известия насчет Вайтилингама. Больше того, в реке, на берегу реки или рядом остались следы — черный чемоданчик почти без медикаментов, всплывшая трость и дорожная сумка, содержавшая среди прочего туфлю. Ящерицы, прежде чем улизнуть, оставляют хвосты в схватившей их руке, поднятой высоко в воздух. В той реке, как хорошо известно, тела найти почти невозможно среди глубоко укоренившихся водорослей. Никто не собирался приказывать прочесывать реку: пусть она их хранит.

— Ясно, что случилось, — заключил Сундралингам, пока миссис Смит

сидела, немо, но не чрезмерно горя, потому что это был Восток. — Ваш сын герой. Он нырял за тем самым мистером Краббе, и мистер Краббе сам утащил его к смерти, или оба запутались в водорослях. Прискорбно, но жизнь продолжается. Смерть для нас, индусов, не конец, а новое начало. Нечего мне вам об этом напоминать, миссис Смит. Ваш сын уже перевоплотился. Мы не знаем, конечно, во что. Приятно было бы думать, что он теперь стал каким-нибудь мелким животным, которого в этот момент лечат в его собственном диспансере, хотя его помощник, конечно, не слишком хороший лекарь. А может быть, он возродится в каком-нибудь будущем великом политике, в спасителе своего народа. Только он всегда говорил, что бессловесные животные достойнее некоторых людей. И сам, как вы помните, был почти бессловесным.

— Расстроились все мои планы, — сказала миссис Смит. Голос у нее был необычно низким, непреодолимым, непохожим, в отличие от очень многих женщин ее расы, на песню хорошенькой птички. Это был голос какой-нибудь компетентной председательницы женской общественной гильдии, а сама она, красивая, дородная, в богатом сари, вполне годилась для центрального места на групповом снимке в местной цейлонской газете. — Я так надеялась, — сказала она. — Возможно, сама глубоко виновата, что слишком долго с ним не общалась. Но письма писала, старалась устроить женитьбу. Понимаете, у меня есть и собственные обязательства. Одной со всем не справиться. Впрочем, — вздохнула она, — может быть, я смогу возместить это в другой жизни. Может быть, он нуждался в матери больше, чем мы когда-нибудь думали. Не думаю, будто он был очень счастлив. Мужчины совершают смелые и отчаянные поступки, только когда не слишком счастливы, а этот поступок смелый и отчаянный. Кем, кстати, был для него тот англичанин?

— Просто англичанин, — пожал Сундралингам плечами. — Но ваш сын спас бы жизнь крысе, жабе, если бы смог. Я считаю вполне вероятным, что он попытался спасти англичанина.

Сомневавшимся в смерти Краббе и Вайтилингама — того или другого, или обоих вместе, — Сундралингам сказал:

— Посмотрим на факты. Оба исчезли. Люди исчезают в каком-нибудь месте. В реке — очевидно.

— Есть еще джунгли. Оба могли уйти в джунгли.

— Ну да, — говорил Сундралингам. — По-моему, Краббе вполне мог пойти, присоединиться к коммунистам. Один тамил, господин Джаганатан, господин, работавший с Краббе в Дахаге, с которым я познакомился в Куала-Лумпуре, упоминал про его сильные коммунистические

наклонности. А еще возможно, он деньги растратил или брал много взяток, и теперь уже пересек границу Таиланда с нечестно нажитыми капиталами. Ничего нельзя точно сказать. Но Вайтилингам безусловно мертв. Можно быть вполне уверенным. — А потом Сундралингам провел славный вечер с миссис Смит и Челванаджаки, под ревнивое верещание Арумугама, который знал, чего Сундралингаму надо; знал, как знал и Сундралингам, что в связи с экономическим спадом отцы семейств урезают приданое аж на пятьдесят процентов, а вот милая, робкая девушка, вполне представительная, приданое которой никогда не будет урезано.

Но были белые мужчины, на слово которых, конечно, никогда нельзя полагаться, которым предстояло облегчить работу полиции в связи с исчезновением Краббе. Приближались торжества по случаю Независимости, полицейский контингент надо было вымуштровать, до блеска надраить и накрахмалить перед отправкой в Куала-Лумпур, где он должен был представлять штат. Если довести дело об исчезновении Краббе до прочесывания реки или не закрывать, пока труп не всплывет ниже по течению, это означало бы лишние неприятности в хлопотливый момент. Поэтому начальник Малайского полицейского управления с доверчивостью Тертуллиана ^[28] слушал рассказы белых мужчин.

Джордж Кастард рассказал, что лодочники, придя днем к лодке, чтобы отправиться обратно вниз по течению, обнаружили всплывшую трость и сумку; один сказал, что видел пузыри, другой в том не поклялся бы, но вроде видел высунувшуюся и в последний раз ухватившуюся за воздух руку. Кастард не сомневался, что Краббе случайно, или, насколько ему было известно, не совсем случайно, утонул. Он добавил, что ему пришлось сообщить своим кули, будто тот самый белый мужчина добровольно покончил с собственной жизнью в компенсацию, по неким темным соображениям, за смерть Югама, тамила, директора школы, — белый за черного, восстановление равновесия жизни. Иначе они склонны были бы видеть в этой внезапной и неожиданной смерти дурное предзнаменование для благополучия поместья при новом управляющем. В рядах кули уже появились маленькие святыни, посвященные духу мужчины со странным именем; уже совершаются приношения речным ракам (за неимением более высокопоставленных ракообразных). Впрочем, долго это не продлится. Более значительные события поглотят крошечный культ, может быть, уже во время следующего индуистского праздника. Суть в том, что первым долгом Кастарда, как понимает начальник полицейского управления, остается поместье и владеющая им компания. Спасибо, мистер Кастард.

— Славный парень, — сказал Томми Джонс, который стимулировал

жажду в столице штата, — только странный немножко. В тот раз я, конечно, не знал, как его звать, только встретился с ним в поезде на Тикус; мы как бы вместе ночь провели, хотя на самом деле ни один из нас так ничего и не сделал. Он рассказывал, будто ему предсказали когда-нибудь отдать концы в омуте, и я еще подумал, не такой уж он умный, не особенно против такого конца возражает. Только особого внимания не обратил, потому что ведь на подобные речи особого внимания не обращаешь. Да и много я таких типов встречал, делая свое дело. Все-таки он немножечко духом упал, потому что жена чересчур для него мозговитая или что-то еще. Как бы там ни было, она стихи про него написала в какой-то газете, в той самой газете, которой не нравится возложение цветов на собачьи могилы, по крайней мере, как я припоминаю. Поэтому он немножечко скуксился. И на завтра утром был как бы не в себе, все твердил, будто пророк Магомет пиво выдумал, или что-то вроде. По-моему, свихнулся немножко. Поехал со свиньей в «лендровере».

Комиссар полиции, просвещенный обучением в Британском полицейском колледже, прикинулся скандализированным. Зацыкал языком над преступлениями: самоубийство, богохульство, извращения.

В полицейском управлении особенно оценили простое свидетельство Манипенни.

— Так я и знал, что с ним будет что-нибудь в этом роде. Он смеялся над бабочкой.

В любом случае, Краббе списали без большого труда. Краббе умер. Кое-кто сожалел о его смерти, впрочем, мало оплаканной. Розмари считала, что рано или поздно он должен был познакомить ее с кем-то приемлемым, или, может быть, вконец устав, сам с ней сойтись, законно припасть к груди. Роберт Лоо отчасти чувствовал себя обманутым, так как Краббе много обещал и мало сделал. Сеид Омар помнил что-то насчет возможности в Министерстве образования, которая теперь вряд ли возникнет. Белые люди обманывают, умирают, уезжают или забывают. Больше того, денег у мертвого не займешь. Повар Краббе несколько недель сидел без работы, что было весьма неприятно. Лим Чень По раз-другой прочитал англиканскую молитву, не слишком формально. Малаец, которого обучал Краббе, занял теперь его место с фанфарами и коктейлями, обнаружив неплохую возможность сваливать вину на усопшего неверного, растерявшего письма и клавшего папки не на свое место. Приближался великий золотой день Независимости.

В доме у Розмари цветы и Джалиль. На письменном столе Розмари едва начатое письмо, два слова «мой дорогой», начинавшие расплываться

во влажной жаре.

— Ну, — в астматическом триумфе прохрипел Джалиль, — кто на вас женится. Я вам говорю, никого не осталось. Один я женюсь.

— Ооооох, уходите, Джалиль, вы гадкий и ужасный, я за вас не пойду, будь вы последним на свете мужчиной. Я велела, чтоб ама вас не пускала. О, какие дивные цветы. — Кошки стояли, нюхали, обследовали.

— Я последний мужчина. Пойдете за меня.

Розмари взглянула на него.

— Я слишком себя уважаю. У вас уже есть три жены, а я буду спать в свободной комнате.

— Я сам там сплю.

— Вы ужасны, ужасны; не мужчина, а свинья.

— За европейца хотите? Я и есть европейец, больной европейец [\[29\]](#). Хотите за азиата? Я и есть азиат. Я есть все, что хотите.

— Мне не нужен муж с тремя женами.

— Я с другими разведусь. По одной каждый день. Через три дня холостяк.

— А потом все снова начнется. Я знаю. Выбросите меня на улицу, разведенную. Вы ужасны.

— Поедем в Стамбул. Мой брат — совладелец отеля в Беноглу. Повеселимся.

— Стамбул, это где?

— В старину назывался Константинополь. — Джалилю удалось выговорить длинное слово с поразительной легкостью. Фактически он был неглуп. — Большой город, очень большой. Базары, много магазинов, отели большие. Можно поесть, выпить, повеселиться.

— Ох, не знаю, — сказала Розмари. — Не знаю, чего хочу. Это ж не Лондон, да? Я имею в виду, это ни то ни се, правда? Я хочу сказать, Лондон — это все, не так ли? — Джалиль не понял, но улыбался со слабым одобрением, тяжело трудясь грудью. А в голове у Розмари теперь быстро крутился фильм, монтаж загадочного Востока, где она никогда не была, — Восток, полный мельтешащих китайцев в кальсонах, Восток без Министерства общественных работ; Восток, посещаемый европейцами в белых смокингах, купленных не на первичное пособие на обмундирование. Блеск, романы, коктейли у сверкающей вечерней реки. Вписывается ли сюда Джалиль?

— Вы не христианин, — заметила она.

— Я все, что хотите, — сказал Джалиль. — В Турции все можно. Кемаль Ататюрк разрешил.

— Ох, не знаю, не знаю.

— На мердеку поедем в Куала-Лумпур, — сказал Джалиль. — Сниму номер в отеле.

— О да, да, — загорелась Розмари. — О да, хорошая мысль. — И первым делом поправила: — Номера.

— Номер. Номера. Одно и то же. — Джалиль был выше морфологии.

Но это оказался номер. Куала-Лумпур отчистился, заново прихорошился, спрятал грязных аборигенов, как пятна на коже, подальше от глаз визитеров; Куала-Лумпур самодовольно пел и плясал в своей новой столичной славе; Куала-Лумпур отыскал для них лишь однокомнатный номер в отеле на Бату-роуд. В любом случае, так заявил Джалиль.

— Никуда больше не стоит идти, — сказал он, пока таксист вытаскивал из багажника вещи. — Искать нечего. Знаю. Здесь останемся. — Малайский ребенок в лохмотьях встретил их у входа в отель, выпрашивая десять центов. Глаза у него были умные, его отличало незапамятное малайское любопытство насчет цеп и родственных связей.

— Он твой отец, — заключило дитя. Джалиль иронически фыркнул.

Но дело того стоило — двуспальная кровать, хриплый крепкий сои Джалиля — ради нескольких славных дней. Под дождевым душем разрезали ленточку перед свободной, сверкающей новизной землей; передали ключи власти. Во все горло кричали: «Мердека!» Даже Розмари подхватила, хоть ее женский взор был фактически прикован к дивным нарядам герцогини Глостер. Никто не повторил одного иронического замечания, высказанного однажды Краббе: настоящее имя Карла Маркса — Мордехай; вполне возможно, арабская транслитерация аналогична лозунгу, приведшему к власти Союз (в отсутствие оппозиции, что очень многие считали добрым знаком). Один циник, малаец-трубач, игравший один раз в сингапурском оркестре под управлением французского дирижера, прокричал один первый слог [\[30\]](#). Розмари вполне отчетливо слышала и недоумевала, в чем дело.

И мужчины, ох, мужчины. Столько красивых сильных европейцев, безупречно одетых. К изумлению Розмари, Джалиль оказался членом клуба Селангор и дважды водил ее туда поесть и выпить. Он только пофыркивал про себя, когда мужчины стадами слонялись вокруг, сильно захваченные ее смуглой красой, угощали выпивкой, демонстрировали прекрасные зубы в общительном смехе, потому что именно Джалиль вел ее назад в двуспальную кровать.

— Ооооох, правда, он великолепен, Джалиль, тот самый мужчина с усиками, Алан, и другой, блондин, по имени Джеффри, и пожилой

мужчина, Питер, Пол, или как его там? Сказал, в любой момент возьмет меня с собой на уик-энд, а у него мешки денег. А тот, что стоял прямо рядом с тобой, толстый, сэр Роланд как-его-там. Ооооо, Джалиль, прямо как в Лондоне.

— Спи. Я устал.

Независимость была получена и отпразднована; все вернулись к работе.

«Многие, — писал ведущий китайский автор в „Сингапур Багл“, — многие, видно, считают независимость лицензией на безответственность. Ничто не может быть дальше от истины. Мы все, особенно малайцы, должны упереться в колесо плечами, доказывая, что мы достойны великого дара свободы и самоопределения. Чиновники в офисах, кули на каучуковых плантациях, рабочие на оловянных рудниках, рыбаки и рисоводы пережили краткий миг ликования и должны теперь взяться за трудные задачи. Политики принесли невежественным райят слишком много ложных обещаний, будто больше не придется трудиться, так как британцы вернут богатства, украденные у сынов этой земли. Возможно, теперь станет ясно, что подобные обещания попросту шелуха, пузыри на ветру самостоятельного развития». И так далее. Только мало кто читал ведущих авторов. Никто не работал с большим усердием, но кое-кто работал с меньшим усердием (хотя, может быть, циник сочтет, что это невозможно).

Но коммунисты в джунглях поднатужились и уперлись в колесо плечами. Независимость мало что значила: капиталисты снова взяли за свои фокусы. Как минимум, в одном штате комму ты вдвое чаще нападали на деревни, устраивали засады на автомобилистов, обезглавливали и выпускали кишки шакалам белых паразитов, жаждущих каучука, а порой и самим паразитам. Но было бы весьма несправедливо предполагать, как предположил однажды Сеид Омар, что произошло это из-за перебежки к мятежникам Вайтилингама. Хотя независимое правительство Малайской Федерации действовало своевременно. «Il faut en finir» [\[31\]](#), — сказал министр-малаец. Поэтому, как минимум, в один штат нахлынули войска, батальон достойных парней, отбывающих воинскую повинность, чтоб нести дальше — должно быть, посмертно, — Бремя Белого Человека. Более тонкую идейную войну вело Министерство информации и некоторые американские организации, выполнявшие героическую — добровольную — работу. Тут были, конечно, не только идеи. Библиотека Информационной службы Соединенных Штатов изобиловала хорошими, чистыми, лишенными идеологии книгами на китайском, английском, малайском и, больше того, служила кондиционированным убежищем от

дневной жары, высоко ценимым неграмотными безработными.

Темпл Хейнс был хорошо осведомлен о естественных речевых процессах и фактически дал Арумугаму гаму новый голос. Вот как это было: Арумугаму обличал британскую несправедливость (в ретроспективе, надо признать) за пьяным прощальным, устроенным для кого-то обедом. Темпл Хейнс, наслаждаясь легким холодным пивом за столиком вдалеке от компании, слышал его и клинически заинтересовался. Арумугаму мчался домой с вечеринки на новом мотоцикле и довольно серьезно разбился. Вскоре после аварии ехал Темпл Хейнс в своем фургоне и нашел стонущего в собственной крови Арумугама. Темпл Хейнс попросил помощи у малайцев в ближайшей пальмовой лачуге аттап и отвез Арумугама в больницу. Лежа под резким светом на столе в травматическом отделении, Арумугам все время стонал:

— Умираю. Я это не по правде говорил про британцев. Вы англичанин. Простите. — Его высокий голос казался Хейнсу пролептически херувимским.

— Я не англичанин, — поправил Хейнс. — Ну, потише теперь. Скоро вы будете в полном порядке. — Больничный помощник-малаец из всех сил яростно зашивал скальп Арумугама; другой малаец, помягче, но не столь эффективно, обмывал грязной водой раны на теле Арумугама.

— Все равно, простите меня, — говорил Арумугам. — Простите перед смертью.

— Вы не умрете.

— О нет, я должен умереть, должен. — Арумугам закатил под светом большие глаза. — Я высказывался против британцев. Британский мотоцикл отомстил. — Он еще был очень пьян.

— Ну, потише теперь. Я сам высказываюсь против британцев.

Пока Арумугам выздоравливал в палате второго отделения, Хейнс часто приходил, приносил в подарок сласти, номера «Лайфа» и «Тайма». Арумугаму с восторгом узнал, что американцы однажды по-настоящему сражались с британцами и победили. И рассказал Хейнсу о страданиях тамиллов Джафны под британским игом, а Хейнс рассказал ему о Бостонском чаепитии [\[32\]](#). А потом Хейнс, ведя взаимную болтовню, тайком применил несколько терапевтических приемов, попросив Арумугама почитать вслух и посоветовав определенные способы голосовой работы. Скоро, поразительно скоро, статьи в «Лайфе» и язвительные биографии в «Таймс» зазвучали мужественной музыкой, в которую сам Арумугам сначала отказывался поверить.

— Теперь я понимаю, — гудел Арумугам. — Это психологическое.

Британцы вынуждали меня быть рабом, и тот голос был голос раба. Раба, — добавил он, — лишенного прирожденных прав. Мы оба страдали, — продолжал он, — вы и я, оба паши народа. Теперь мы мужчины, а не рабы. Вы сделали из меня мужчину. — Он сильно привязался к Хейнсу, облегчив ему работу в определенных кварталах. А на свадьбе Сундралингама шафера Арумугама трудно было удержаться от речей. Он даже спел песню под названием «В холодном подвале» из индийского студенческого песенника.

Как-то вечером Сеид Хасан, Идрис, Азман и Хамза сидели в заведении Лоо. Все были одеты в костюмы более спокойных и благополучных времен; кавалерственная дама Клара Батт не совсем таким низким голосом, как у Арумугама, пела «Землю надежды и славы»; выжатое из тропических илотов золото обеспечивало высшему классу комфорт в холодном климате. Костюмы друзей для малайской жары не годились, но они стоически были готовы страдать ради красоты и приличия. К их интересу и радости вошли трое солдат из числа Королевских стрелков точно в такой униформе — штаны водосточной трубой, саржевые куртки до пояса, галстук-шнурок. Прошагали к стойке бара, волоча за собой массу черных волос.

— Эй, Джон, — сказал один из вновь пришедших Роберту Лоо. — Дай-ка нам три пива. — Роберт Лоо рассеянно поднял глаза, отвлекаясь от музыки. — И будь повнимательней, когда с тобой капрал разговаривает, — шутливо добавил парень. Потом этот переодетый капрал барственно оглядел других посетителей, перехватил взгляд Сеида Хасана и его приятелей. — Ух ты, — сказал он, — и тут стилиаги. Кто б мог подумать, что встретит стилиаг-ниггеров? — Он сердечно приветствовал четырех малайских юношей и без приглашения привел свою свежелицую компанию из двух человек к их столу. — Еще стульев, Джон, — бросил он одному из братьев Роберта Лоо. — Мы тут посидим.

— Кто такие стилиаги? — робко спросил Хамза.

— Сликаешь по-английски? Стилиаги — это вы. И мы тоже стилиаги. В старину назывались хлыщами эдвардианскими ^[33]. Ух, адское тут пекло. Джон, вентилятор вруби, а?

— Почему их так называли? — спросил Хасан. Он с трудом понимал английский капрала, но не сомневался, что это и есть настоящий английский, ощутив недовольство учившими его английскому учителями. Они его учили колониальному английскому, вот что. Но он скоро выучит этот новый, свободный, демократический английский.

— Почему? Да потому, что мы возвращаемся в старые добрые времена, когда не было всей этой долбаной мутоты. Никаких войн и всякой

бредятины. Пиво — пенни за галлон, и все дела. Куда пи глянь — красота. Эй, Джон, вруби музыку, а? Пацаны, вам чего?

Малайские юноши в первый раз в жизни теперь пили пиво. Оно само по себе, как однажды сказал Краббе, служило языком. Роберт Лоо, по наказу отца, одарил новых клиентов свежими дарами музыкального автомата. И сам прислушался к бравым гармониям саксофонов и медных, к нагонявшему сон барабанному бою, не без небольших физических мурашек. Сеид Хасан подмигнул ему, он подмигнул в ответ, впрочем, неловко, не привыкнув к подобным общительным жестам.

Но уже начиналось общение, которое стало более плодотворным в смысле межрасового согласия, чем любые туманные фантазии Краббе. Шатаясь как-то вечером по улицам, они всемером наткнулись на молоденького тамила в эдвардианском костюме.

— Эй, Самбо, сюда слушай, — сказал капрал. — Чего делаешь?

А потом к компании присоединились два парня-китайца, и один из них, по имени Филип Алоизиус Тан, быстро стал вожаком. Капрал добродушно на это смотрел, даже радовался: в конце концов, кончились времена британского владычества.

Для Розмари вернулись времена радостных ожиданий. В городе был подполковник, майоры, капитаны, лейтенанты-новобранцы. Джалиль? «Вопрос о неопишемом турке немедленно следует снять». (Письмо Карлейля Говарду от 24 ноября 1876 года, что по своим книжкам мог подтвердить Краббе, если бы Краббе был еще жив, а книжки не были бы отправлены домой его вдове.) Джалиль не был джентльменом. А полковник Ричмен был, и майор Анстратер, и капитаны Тиккел и Форсайт. А лейтенанты Крик, Лукер, Джонс, Дуайер? Желторотые, гогочущие, в ее меню они больше не входят. Майор Анстратер неженатый, хороший танцор, опытный в искусстве любви. Аккуратное квадратное лицо, аккуратно сидящие волосы, аккуратное широкое тело, голос, акцент, как у Лим Чень По. Для Розмари он олицетворял Англию — туман, первоцвет, Шефтсбери-авеню, станция метро «Южный Кенсингтон», Кафе-Ройял, Кью в сезон сирени, время от времени Кру в три часа дня, Стоук-на-Тренте по воскресеньям, запахи Уоррингтона. Можно сказать, она снова была влюблена.

При новой системе раздачи даров каждый что-нибудь получил. Сеид Омар получил фургон с рулем слева и жалование в двести долларов в месяц. (Малайских долларов, а не американских, хотя в конце первого месяца он клялся работодателям, будто думал, что доллары американские, иначе бы за работу не взялся. Ему была обещана прибавка в ближайшем

будущем.) На том фургоне был нарисован орел, пожимающий лапу тигру, что символизировало новую дружбу двух свободных народов. Фургон еженедельно нагружали газетами, отпечатанными прекраснейшим арабским шрифтом, под названием «Суара Америка» («Голос Америки»). Эту самую газету надо было доставлять темным людям в кампонгах, которые иначе ничего бы не ведали о событиях в огромном внешнем мире. Впрочем, мало кто из них умел читать. Все равно они радостно приветствовали появление Сеида Омара, угощали его свежим пальмовым соком, простым кэрри, никогда не уставая смеяться над орлом, пожимающим лапу тигру.

Сеид Омар открыл весьма доходный побочный промысел, продавая «Суара Америка» в разные магазины города на обертку. Но в подтверждение своей лояльности обязательно приносил домой экземпляр и читал женам выдержки о частной жизни кинозвезд. Им нравилось. А по вечерам, когда он бывал дома, Сеид Хасан давал отцу уроки английского. Теперь они совсем хорошо ладили, особенно после того, как Сеид Хасан получил перспективное место: стал пятым водителем султана, время от времени получая волнующую возможность промчаться в новом «кадиллаке» по городу.

Однажды Роберта Лоо вызвали в здание Информационной службы Соединенных Штатов. Раньше это была британская резиденция: за ее использование американцы заплатили султану щедрую арендную плату. Роберта Лоо сердечно приветствовали два моложавых американских джентльмена, проявившие интерес к его музыке. Его привели в музыкальный салон, где он затрясся под кондиционером, предложили сесть за адаптированный к тропикам «Бехштейн», сыграть что-нибудь свое. Роберт Лоо улыбнулся.

— Я не пианист, — сказал он. — Я композитор.

— Вообще не умеете на фортепьяно играть?

— Нет.

— Ну, откуда ж вы знаете, как звучит ваша музыка?

— Я в уме ее слышу.

— Ну, тогда, может быть, вы окажете нам любезность и оставите что-то написанное?

— Его не очень много, — сказал Роберт Лоо. — Я уничтожил ранние работы. Была симфония и струнный квартет. Они были незрелые, и я их уничтожил.

— Что ж у вас тогда есть?

— Вот. — Роберт Лоо достал из кейса нотную запись короткой

пьесы. — Вот, — сказал он. — Легенда для фортепьяно и оркестра.

— Легенда?

— Так я ее назвал. Не знаю почему. — Роберт Лоо нервно улыбнулся.

— Ну, оставьте, и мы через пару дней вас опять пригласим.

Роберта Лоо вовремя пригласили и любезно приняли.

— Вы все фокусы знаете, — сказали они. — Весьма компетентно. Явно слушаете лучшую музыку к фильмам.

— Я в кино никогда не хожу, — сказал Роберт Лоо.

— Ну, это очень даже аккуратное попури типа рахманиновского фортепьянного концерта к фильму, который без конца играли сразу после войны.

— Попури? — Роберт Лоо не знал этого слова.

— Да. Странно, что вы не особо усвоили местные музыкальные идиомы. Тут очень богатые возможности. Посмотрите, например, что делал Барток.

— Я хочу писать музыку сердцем, — сказал Роберт Лоо.

— Да? Что же, весьма похвально, по-моему, в своем роде. Спасибо, мистер Лоо. Очень мило, что вы предоставили нам возможность взглянуть на вашу музыку. — И Роберта Лоо любезно отпустили.

Мистер Роджет, один из двух джентльменов, написал дружескую записку Темплу Хейнсу, который в то время вел курс англо-американской фонетики в Куала-Ханту.

«Дорогой Темпл!

Мы с Джо взглянули на музыку того самого китайского парня, о котором тебе перед смертью рассказывал англичанин. Если честно, не думаю, чтобы тут много можно было бы сделать. Он прошел стадию элементарной гармонии, контрапункта и прочего: фактически весьма компетентен технически. Только техника нам не нужна. Мы скоро научим их технике. Нам нужна туземная музыка — народные песни и пляски, шестирядная гамма и прочее. Наша задача — изучение местной музыки, поиски истинных местных талантов. Этот китаец как бы отбросил местные мотивы (у него, например, даже нет и следа китайской пентатоники), весьма умело подражая подражанию: киношная второсортная романтическая чепуха, дополненная грандиозными рахманиновскими скрипичными мелодиями и громкими сольными фортепьянными аккордами. Все это мы уже слышали. И сами гораздо лучше умеем. Собственно, мы приехали сюда за тысячами миль не затем, чтоб увидеть собственное отображение в кривом зеркале. Вот так вот. Надеюсь, курс идет успешно. Мы с Джо собираемся вскоре немножко поездить по

дальним деревушкам, разумеется с звукозаписывающей аппаратурой. Один малаец нам очень тут помогает, некий Сеид Омар; говорит, будто ведет происхождение от Магомета; он-то и собирается нас повозить. Не задаром, конечно, да какого черта!

До встречи. Гарри».

В офицерской столовой были танцы. Розмари сидела в гостиной под вентилятором в нижнем белье, приготовленное ярко-красное платье ожидало на стуле; решала, когда ей пойти. Том заскочит через час (на макияж уходил целый час), но она, пожалуй, впервые в жизни призадумалась, правильно ли поступает, соглашаясь развлечься. На полу лежали четыре больные кошки, определенно больные; что касается остальных, одни не находили покоя, другие почти не двигались. Она пыталась дать больным кошкам молока, но они его срыгивали. Розмари целый день мыла пол. Ама боялась к ним подходить. Носы у кошек были горячие. Тигр, огромная злобная полосатая тварь, обычно почти постоянно зловеще насупленный, совершавший злобные поступки, лежал на боку, неглубоко дыша, со свалившейся шерстью. Розмари звонила в ветеринарный департамент, просила, чтоб кто-то пришел, но никто не пришел.

— Транспорт, — было сказано ей. — Транспорта нету. «Лендровер» сломался.

— Ну, возьмите такси, возьмите напрокат машину, сделайте что-нибудь. Дело срочное.

— Лучше приносите своих кошек сюда.

— Не могу, не могу. Их слишком много. Они слишком больны. Пожалуйста, прошу вас, приезжайте.

— Постараемся.

Но никто не пришел. Розмари гадала, что делать. Тигр слабо попробовал уползти в угол, там срыгнул на пустой желудок. Розмари знала, как хрупка жизнь любого домашнего животного в этой стране; если на то пошло, и любого человеческого существа: смерть приходит так легко, почти без предупреждения, без очевидной причины, ее нередко встречают с улыбкой. Деталь общей картины, как проливные дожди, как кокосовые орехи. Здесь не было никаких мифов о борьбе жизни и смерти, может быть, потому, что здесь не было мифов о весне и зиме. Но Розмари была настолько пропитана Севером, что ломала руки, плакала и проклинала себя. Впала в суеверия, наполовину вспомнила старые молитвы, проговорила:

— Я знаю, что вела себя плохо, знаю, что грешила, но никогда никому не сделала ничего плохого. Пожалуйста, Боже, пусть они поправятся, и я

больше не буду пить, не буду ходить на танцы, честно, буду хорошей. Никогда больше ни с кем спать не буду, обещаю. Пожалуйста, пожалуйста, пусть они поправятся.

Розмари прочитала по-английски «Богородице, Дево» и несколько слов из «Исповедуюсь» по-латыни Помолилась святому Антонию, ткнувшись в своем невежестве не в ту дверь, и Цветочку. Но жизнь не шевельнулась в оцепеневших тельцах, а не находившие покоя кошки мяукали и обнюхивали неподвижных кошек.

Тут послышался приближавшийся автомобиль, заскрипевшие тормоза.

— Ох, нет, — сказала Розмари, прикрывая руками крест-накрест свою наготу, — ох, нет. Рано он, слишком рано. — А потом: — Надо спешить. Лучше пойду, я должна, обещала. И бригадир на танцы придет. Будет гала-представление. Ох, мне надо спешить. Может быть, им станет лучше, когда я вернусь. Ох, Боже, пожалуйста, пусть им станет лучше, а я выпью всего два раза. Три, — поправились она. И бросилась в спальню краситься. В спальне услышала преждевременный стук, потом открылась парадная дверь.

— Том, вы рано, — крикнула она. — Выпейте. Я скоро. — И добавила: — Посмотрите на моих бедных кисок. Я за них до смерти переживаю. — Из гостиной не прозвучал сердечный английский ответ, не звякнул стакан с бутылкой. — Джалиль, это ты? — подозрительно крикнула она. — Я велела, чтоб ама тебя не пускала. Нечего тут Оставаться, потому что я уйду. Вот так вот. — Но не слышалось ни астматического хрипа, ни предложения повеселиться. Еще больше преисполнившись подозрений, она во что-то завернулась и выглянула в дверь. Кто-то хлопотал на полу, заботливо наклонившись к больным животным.

— Ох, Вай, — крикнула Розмари, выходя с облегчением, ненакрашенная, волосы кое-как. — Ох, Вай, вы пришли, слава Богу. Услышана моя молитва. Бог услышал, святой Антоний услышал. Ох, слава Богу. Услышали. Никогда больше не буду пить. Сто пятьдесят раз четки переберу. Я исправлюсь, обещаю.

Вайтилингам ничего не сказал. Действовал деловито, умело обращаясь с пузырьками и шприцем. Но один раз нарушил молчание, проговорив:

— Кошачий. Кошачий. Кошачий энтерит. Им болеют кошки в кампонгах. Болезнь распространяется.

— Ох, благослови вас Бог, благослови вас Бог, Вай. Пока вы заняты, я оденусь. А то опоздаю. Том скоро явится. — И метнулась обратно к своим баночкам с кремом, к туши для ресниц, к помаде. — Я знала, — сказала она

между взмахами помады, — что вы... меня... не подведете. — Ответа не было. А вскоре раздалось тук-тук-тук, парадная дверь сердечно распахнулась, прозвучало сердечное приветствие.

— Привет, детка. Розы, вы где? — А потом: — Ох, прошу прощения. Я вас не заметил. Вы, наверно, ветеринар.

— Минуточку, Том, дорогой, — пропела Розмари. — Только причешусь. Окажите услугу, принесите мне платье.

— Не уверен, что могу доверять себе, ха-ха-ха. Мы с вами наедине в спальне, а?

— Какой вы гадкий, Том.

Но майор Анстратер, джентльмен, вскоре вернулся в гостиную, вежливо наблюдая за немymi руками тихого коричневого мужчины на полу. Майор Анстратер не особенно любил кошек, будучи собачником.

— Теперь с ними все будет в порядке? — вежливо спросил он.

— Ежедневные инъекции, — сказал Вайтилингам. — Тогда может быть.

Анстратер недолго пробыл в Малайе. И приписал эти рубленые телеграфные фразы робости мужчины при встрече с представителем высшей расы. И попробовал подбодрить беднягу.

— Жарко для этого времени года, — сказал он.

Вайтилингам кивнул, поднялся, положил инструменты.

— Жарко, — согласился он.

— У меня золотистый лабрадор-ретривер, — сообщил Анстратер. — Дома, в Англии. Вы собак любите?

— Некоторых.

— Кое-кого забавляет, что китайцы прозвали нас «беговыми собаками», — сказал Анстратер. — Видно, не понимают, что это фактически комплимент. — И посмеялся. — Собака — животное благородное.

— Да.

— Мы будем рады, когда все это кончится, — сказал Анстратер. — Война чересчур затянулась. Война, впрочем, не настоящая. До тех чертей не доберешься. Джунгли — просто кошмар.

— Кошмар.

— Ну вот, Том. Вы закончили, Вай? Я вам так благодарна, так благодарна. Так рада, что вы вернулись. Мы все гадали, что с вами случилось. По-моему, ваша мать беспокоилась. Она уже уехала. Так обрадуется, что вы живы. Тут столько новостей, Вай. Завтра придете? Благослови вас Бог. Ну, теперь нам надо лететь. Нельзя заставлять

бригадира ждать.

— О, бригадир всегда опаздывает, — сказал Анстратер. — Только все-таки лучше идти. Немножко заправимся джином перед весельем. До свидания, мистер... э-э-э... Надеюсь, еще встретимся.

— До свидания, Вай, — сказала великолепная Розмари, видение теплой коричневой кожи и шуршащего красного шелка. — Какой вы милый.

И они ушли. Хлопнула дверь. Дымила сигарета Анстратера, и духи Розмари еще слабо плыли в воздухе. Слышался их смех, когда они садились в машину, притихший, когда машина тронулась и направилась к столовой. Вайтилингам нежно поглаживал Тигра, вытирая кусочком бумажной салфетки запачканный рот животного. Он поправится. Все поправится. Для всего есть лекарства. Не поможет одно, попробуем другое. Вайтилингам вздохнул, уложил чемоданчик ветеринарного департамента штата и оставил кошек лежать, уверенный, что целебные соки скоро сделают свое дело. А пока в офисе наверняка ждут огромные пачки корреспонденции.

Машина хорошо завелась. Механик над ней поработал. И, тихо двигаясь по шоссе, Вайтилингам подумал, что лучше бы нанести краткий визит друзьям, закоренелому холостяку Сундралингаму и Арумугаму с тонким голосом, перед возвращением в офис. Они, по крайней мере, не изменились, ждут хороших новостей, радостно его встретят. Он слегка улыбался, ведя машину по левой стороне дороги.

У Розмари был чудный вечер. Огни, музыка, внимание. Отбывающие в белом воинскую повинность подносили ей розовый джин (много, много; она позабыла свое обещание Богу, и святому Антонию, и Цветочку, и прочему пантеону), одобрительно подмигивали время от времени. В ней было столько привлекательного. Столько офицеров с округлыми дамскими топкими талиями, издававшие сладкий юный свежий мужской аромат, приглашали ее танцевать. Она так хорошо танцевала. Рассказывала компаниям, носившим от одной звездочки до трех и короны, про свою жизнь в Лондоне, про одноразовые украшения и выступление по телевидению, и ооооо, о предложениях. Было очень весело.

Угощение было великолепное. Канапе всевозможных сортов, галантин, который надо было черпать ложкой или резать ножом, сыр, лук, без вустерского соуса. Но всего никогда не получишь. Самым вкусным был крабовый мусс. В пятый раз набив рот, Розмари вдруг что-то остро припомнила. Это было воспоминание об уроке поэзии в ливерпульском колледже: серьезный молодой человек, не без привлекательности, похожий на Эмпсона [\[34\]](#). Слезы стали размачивать тушь.

— Бедный Виктор, — сказала она в пустоту у стола, накрытого белой скатертью, — бедный, бедный Виктор.

— Пришел, увидел, победил, — сказал вполне симпатичный субалтерн. — Victor ludorum [\[35\]](#).

— Бедный Виктор. — А потом кто-то пригласил ее танцевать.

Словарик

- Ама — нянька; служанка (малайск.).
Аттап — лачуга из пальмовых листьев (малайск.).
Байю — вид одежды, тупика, кофта (малайск.).
Вайян кулит — яванский театр теней (малайск.).
Дхоти — одежда индусов, кусок ткани, обернутый вокруг тела (урду).
Кампонг — деревня (малайск.).
Кедай — лавка, магазин (тамил.).
Куки — повар (малайск. от англ. кок).
Лаук — продукты (рыба, мясо и пр.), которые подаются с рисом (малайск.).
Малам — вечер, ночь (малайск.).
Мердека — свобода, освобождение. Боевой клич Национальной Организации Объединенной Малайи (малайск. от санскр.).
Нарака — ад (араб.).
Ноля — наименование замужней китайки (малайск.).
Оранг дарат — букв.: местный народ; аборигены (малайск.).
Оранг путе — белый человек, европеец (малайск.).
Паданг — открытое пространство, полоса земли, деревенская лужайка (малайск.).
Ронггенг — популярный в Малайе яванский танец (малайск.).
Сакай — грубое обозначение аборигенов (букв.: раб) (малайск.).
Самсу — дешевый китайский рисовый спирт (кит.).
Туан — господин, сэр. Европейцев именуют «туап», малайцев — «хаджа» и потомками Пророка (малайск.).
Тукай — китаец: хозяин или владелец магазина (английское произношение романской малайской транскрипции китайского слова «таук»).
- Хаджа — человек, совершивший паломничество в Мекку (араб.).

Примечания

Бертон Роберт (1577—1640) — английский философ, автор «Анатомии меланхолии», резюме медицинских и религиозных взглядов своего времени. (Здесь и далее примеч. перев.)

Любовь к странствию (фр.).

Клаф Артур Хью (1819—1861) — английский поэт, многие произведения которого полны безверия и унылого скептицизма.

Тойнби Арнольд Джозеф (1889—1975) — английский историк и социолог, автор концепции о причинах подъема и гибели цивилизаций.

Титания — царица фей и эльфов в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Джафна — порт в Шри-Ланке (бывший Цейлон, британская колония), столица древнего государства тамиллов, одного из народов Индии.

Симпосий — пиршество, застолье в Древней Греции.

Некоторые восточные слова и выражения объясняются в авторском словарики в конце книги.

Элгар Эдуард Уильям (1857—1934) — английский композитор и дирижер, создатель национального стиля в оркестровой музыке.

Буланже Надя (1887—1979) — преподавательница музыки и дирижер, у которой в Американской консерватории в Фонтенбло учились многие видные композиторы.

Фрамбезия — тропическое кожное заболевание.

Ротарианец — член основанного в 1905 г. в США международного «Ротари-клуба» для бизнесменов и представителей свободных профессий.

Бейллиол — один из самых престижных колледжей Оксфордского университета.

В городе Хенли ежегодно в июле проводится традиционная международная регата, на ипподроме Аскот — четырехдневные скачки: значительные события в жизни английской аристократии.

Томми — прозвище английского солдата.

«Мандаринами Уайтхолла» в Англии называли влиятельных высших государственных чиновников.

Заботливой (фр.).

Канале — бутербродики.

Кадм — персонаж греческой мифологии, который ввел в Греции финикийский алфавит.

Питт Уильям-младший (1759—1806) — английский государственный деятель, организатор коалиции против Наполеона, не переживший потрясения после Аустерлицкой битвы.

В темпе марша (ит., муз.).

Боб — шиллинг (разг.).

На судне «Мейфлауэр» в ноябре 1620 г. в Америку из Старого Света прибыли пилигримы, первые поселенцы Новой Англии.

Джи-ай — американский солдат (разг.).

Одно из значений английского слова «райт» (right) — подходящий; именно тот, кто нужен.

Слова Гамлета, рассуждающего о замужестве матери (акт первый, сцена вторая, пер. Б. Пастернака).

Помми — на австралийском сленге английские эмигранты в Австралии.

Христианский теолог и писатель Тертуллиан (ок. 160—220) утверждал веру в силу ее несоизмеримости с разумом: «верую, ибо это — абсурдно».

«Больной европеец» — так западная пресса называла Великобританию, переживавшую серьезные экономические трудности.

Этот первый слог в английском произношении звучит как французское *merde* — дерьмо.

С этим надо покончить (фр.).

В декабре 1733 г. в ходе борьбе североамериканских английских колоний за независимость члены организации «Сыны Свободы» проникли на английские корабли в Бостонском порту и выбросили в море 342 сундука с чаем.

Стилягами, пижонами (teddy boys) в Англии 1950-х гг. стали называть молодежь, подражавшую моде времен короля Эдуарда VII («Teddy» — уменш. от Edward), правившего с 1901-го по 1910 г.

Эмпсон Уильям (1906—1984) — английский поэт и критик, преподававший английскую литературу в университетах Токио и Пекина.

Победитель в состязании (лат.).